

▪ Эдвард Радзинский ▪

НАПОЛЕОН



Эдвард Станиславович Радзинский
Наполеон

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4238215
Наполеон: АСТ, Астрель; М.: 2011
ISBN 978-5-17-074180-9, 978-5-271-35640-7

Аннотация

В книгу вошла драма Великой Французской революции в трех действиях.

Содержание

Действие первое	4
Рассказ Сансона, исполнителя высших приговоров	8
Действие второе	37
Из архива Шатобриана	37
Франсуа Рене Шатобриан пишет книгу	38
Рассказ смельчака	48
Граф Ферзен: «несколько важнейших дат моей жизни»	54
В «тот день» Бомарше, как всегда, писал пьесу	66
Гражданин Бомарше продолжает сочинять пьесу	73
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Эдвард Радзинский Наполеон

Действие первое Сансон *Прогулки с палачом*

Зимой 1996 года я приехал в Париж. И все представлял, как ровно сто лет назад были в Париже – Они...

Шел 1896 год. Это был первый визит русского царя во Францию – после того, злополучного, когда поляк Березовский выстрелил в его деда. Поляк мстил за поруганную Польшу. К счастью, Александр II тогда остался жив (его убьют потом – бомбой).

Теперь никто не стрелял. Толпы восторженных парижан заполнили улицы. В открытой коляске ехали: красавица императрица, Государь – милый молодой человек в военной форме – и очаровательная дочка.

Он записал в дневнике:

«25 сентября произошла закладка моста, названного именем папа. Отправились втроем в Версаль. По всему пути, от Парижа до Версаля, стояли толпы народу, у меня почти отсохла рука, прикладываясь. (Он отдавал честь, прикладываясь к козырьку фуражки. – Э.Р.) Прибыли туда в четыре с половиной и прокатились по красивейшему парку, осматривая фонтаны... Залы и комнаты интересны в историческом отношении».

Это «историческое отношение»... Оно уже тогда должно было Их поразить.

С площади Согласия (бывшей площади Революции) хорошо видны колонны церкви Святой Магдалины. Здесь, на кладбище у храма, когда-то были похоронены жертвы фейерверка. Он случился в знаменательные дни для той, французской королевской четы – во время бракосочетания Людовика XVI и Марии Антуанетты. И окончился страшными жертвами – сгорело много людей. Тогда в Париже говорили: это предзнаменование! Не к добру такое начало совместной жизни!

И у Них тоже произошло страшное и тоже в знаменательные дни. Случилось это незадолго до поездки в Париж, во время коронации... Они приехали на Ходынское поле – сверкало солнце, гремел оркестр. В павильоне – вся знать Европы. Но Они знали – все утро отсюда вывозили трупы: во время раздачи бесплатных подарков в ужасающей давке погибли почти две тысячи несчастных...

И тот же страшный шепот: не к добру это! С кровавой приметы начинается царствование!

«Интересны в историческом отношении»... Только потом царь узнает, как связан был с Ними Париж в этом самом «историческом отношении». Какой пророческой оказалась великая фраза! Все, что узнали Они тогда в Версале, повторится в Их жизни.

Был мягкий, безвольный Людовик – и Николая будут называть мягким и безвольным.

И две Елизаветы – сестра Аликс, набожная основательница Марфо-Мариинской обители. И другая, столь же набожная, с той же неземной улыбкой – сестра Людовика XVI.

Мария Антуанетта была властной и надменной красавицей. И его жена – властная и надменная красавица. И та же ненависть народа к королеве – Марию Антуанетту называли

«австриячкой» и обвиняли в измене и разврате. И его жену будут называть «немкой» и обвинять в прелюбодеянии с мужиком. И ненавидеть! Так же ненавидеть!

И как те в любимом Версале, Они в любимом Царском Селе увидят те же страшные, яростные толпы восставших и станут их пленниками.

На кладбище у церкви Святой Магдалины Революция похоронит обезглавленных короля и королеву. Они будут лежать в безымянной могиле, в грязной яме, облитые негашеной известью.

И Их впереди ждала такая же участь – безымянная могила, грязная яма. Их, которые ехали тогда такие счастливые по Парижу!

Оскверненный собор Парижской Богоматери, храмы, превращенные в склады провианта, убитые священники, свергнутые с пьедесталов статуи королей... Поруганные мощи святых (святую Женевьеву, покровительницу Парижа, к мощам которой за помощью столько раз обращался народ в дни великих бедствий, разрубили топором на позорном эшафоте и бросили в Сену)...

Страшное кладбище у парка Монсо (оно было совсем недалеко от православного собора, который посетил Николай)... На этом кладбище они лежали вместе – блестящие аристократы и убившие их революционеры. И убившие этих революционеров другие революционеры...

Все эти воспоминания времен Французской революции станут Их будущим. Возвращаясь из Версаля, Они не знали: перед ними было зеркало.

Царица до конца поймет это лишь в страшном 1917 году.

И поэтому, узнав о его отречении, она в ужасе и странном безумии будет шептать *по-французски* – «abdique» (отрекся). И, должно быть, вспоминать, как Они стояли в той зеркальной зале.

Зеркала Версаля...

Последний русский царь был мистиком. Рожденный по церковному календарю в день Иова Многострадального, он был уверен в своем трагическом предназначении.

И, конечно, он не мог не заинтересоваться тем мистическим рассказом, о котором тогда, в дни столетия Революции, много говорили и спорили в Париже. Речь идет о пугающем пророчестве, сделанном за два десятка лет до Революции другим мистиком, неким Казотом.

Казот был масоном и сочинителем. Мистические взгляды придавали его изящным творениям несколько тяжеловесный характер пророчеств.

Но однажды случилось невероятное. В тот вечер в салоне маркиза де Водрейля собрался один из тех очаровательных кружков, которые исчезнут вместе с Галантным веком: несколько умных и весьма вольно мыслящих аристократов, несколько очень красивых и пугающе умных дам (в век господства философов красивым женщинам приходилось быть еще и умными, коли они хотели быть модными). Приглашен был и Казот – философ, литератор и блестящий рассказчик. Но утонченной беседы не получилось – Казот весь вечер пребывал в тоскливом молчании, причем долгое время угрюмо отказывался объяснить свое непонятное поведение.

Однако настойчивые дамы победили. И он рассказал, как внезапно перед ним предстало некое видение – тюрьма, позорная телега, потом эшафот со странным сооружением...

Он описал его. Впоследствии оказалось: он описал *гильотину*... за двадцать лет до ее изобретения!

Но не диковинное сооружение напугало Казота. Он увидел нечто более страшное – очередь людей, поднимавшихся на эшафот к гильотине, длиннейшую очередь, в ней были все самые блестящие фамилии Франции. И что самое ужасное – в ней были все присутствовавшие в тот вечер. И первым стоял он сам – Казот! Сверкал падающий топор гильотины, но очередь не уменьшалась, ибо все время к эшафоту подъезжала позорная телега, и оттуда высаживались очередные жертвы...

После такого рассказа, естественно, воцарилось тягостное молчание. И тогда одна из дам попыталась пошутить:

– В вашем рассказе меня более всего пугает не эшафот, но позорная телега, любезнейший Казот. Оставьте мне по крайней мере право подъехать к вашему загадочному сооружению в собственном экипаже.

– Нет, – вдруг сказал Казот каким-то странным, чужим голосом. – Право ехать на казнь в экипаже получит только король. А мы с вами отправимся туда в позорной телеге.

Поразительно: пророчество Казота приводит в своей книге внук того, кто был в то время хозяином этой самой позорной телеги. Когда 26 сентября 1792 года Казота повезли на гильотину, этот человек был рядом с ним, и у него было время поговорить с Казотом о его пророчестве. И внук услышал от него рассказ о господине Казоте и его последних минутах: как спокойно, но «без наглой самоуверенности» взошел он на эшафот. Что ж, двадцать лет назад Казот все это уже пережил – так что он *приготовился!* И хозяин телеги оценил это по достоинству, как знаток смерти.

Это был он – Месье де Пари, палач города Парижа Шарль Анри Сансон.

Ради него я и приехал в Париж в те зимние дни 1996 года. Я приехал на свидание с ним, следуя уморительной привычке литераторов, – решил подышать, так сказать, «теми же воздузями» и насладиться лицезрением мест, где жил мой герой. И все представлял себе, как ровно сто лет назад на обратном пути из Версаля царская семья проехала по Парижу – по древнему кварталу Марэ с его старинными сонными отелями, где в Тампле в дни Революции томилась несчастная королевская семья. Затем на площади Республики их коляска сделала круг...

От площади Республики и идет та самая улица Шато д'О. Александра Федоровна была нервной женщиной, и она наверняка вздрогнула, когда проезжала мимо этой улицы! Ибо здесь, в глубине сада, возделанного его женой, стоял дом моего героя.

Дом Сансона. Палача Сансона. Сансона Великого.

Каждый вечер я шел к тому месту, где когда-то стоял его дом. Я хорошо изучил все его жизнеописание – и подлинные, и ложные. Лучшая книга о нем принадлежит перу его внука. Но он писал ее, когда короли снова вернулись во Францию. Он жил в дни правления внуков тех, кого обезглавил его дед. И пришлось ему сочинять жизнеописание, в котором Сансон Великий выглядел добрым роялистом, нежно любившим короля, королеву и всех бесчисленных аристократов, которых он почему-то отправил к Господу с головами под мышкой... Но мы-то хорошо понимаем этих вчерашних революционеров, которым пришлось менять свои убеждения.

В Париже я часами стоял у его дома. Я старался увидеть, как выходил он на свою вечернюю прогулку, как редкие прохожие (это была тогда окраина Парижа), завидев его, торопливо переходили на другую сторону улицы...

А он шел. Один. Он тогда был молод, высок, красив.

Он привык разговаривать сам с собой. Ибо тогда он был презираем, и не было у него собеседников.

Сансон – палач города Парижа... Именно в те молодые годы он и начал вести Журнал, куда аккуратно записывал свой кровавый отчет. И я все представлял, как уже потом – старый, разбитый болезнью и страхом – пытался описать он свою жизнь. Жизнь, столь необыкновенную именно «в историческом отношении»...

И однажды, придя в гостиницу, я услышал голос. Слов не было – одно далекое, невнятное бормотание... Я бросился к крохотному гостиничному столу и начал торопливо писать. Голос тотчас пропал, но я не останавливался... Только впоследствии я понял: я переносил на бумагу чужие мысли. Его мысли. Я обнаружил их потом в «Записках палача», написанных его внуком.

Это были те же мысли, но... одновременно и *другие!*

И тогда мне стало казаться – он сам говорил со мной.

Рассказ Сансона, исполнителя высших приговоров уголовного суда города Парижа *Вариации на тему «Записок палача»*

«Я привык быть один. Я гуляю вместе с самим собой. Я и Я – мы шествуем вдвоем. Я иду и думаю – как всегда, об одном и том же.

С тех пор как существует человечество – существует казнь. Сколько наказаний придумал зловредный человеческий род – и поручил Исполнителю. И все – с изощренными, изобретательными муками!

Возьмем самое легкое – бичевание. Вы думаете, просто секут? Нет, поусердствовали, выдумали – и поручили палачу волочить по городу несчастного, привязанного к телеге, а на каждой площади останавливаться и сечь! Сечь!

Но бичевание – это детские шалости по сравнению с клеймом, навсегда отлучающим человека от общества, с дыбой, ошейником и прочими пытками. Но разве палач их придумал? Люди придумали – и поручили палачу! И презирали его за это.

Венец нашей работы – смертная казнь. И опять: людям мало убить – им надо еще мучить, мучить, мучить!

Смерть на кресте – самое древнее из мучений казни. Но распятие было отменено римским императором Константином, ибо стало предметом поклонения христиан. Ничего, сколько новых казней придумали – и куда страшнее!

Колесование! После каждого колесования я, привыкший к ужасам палач, не в себе – мне все мерещится, все снится, как я раскладываю человеческое тело на колесе, ломаю суставы, залезаю в рот, отрезаю язык... Нет ни одной частички тела, которую при колесовании не «ласкает» палач! Но и это еще не самый худший вид смерти. Люди придумали сдирать кожу с живых, варить их в кипятке, сажать на кол... О, изобретательное человечество!

А эти тысячные толпы, приходящие глазеть на мучения... Им интересно! Складываются костер из дров и соломы, на него возводят осужденного, привязывают к столбу... Он будет долго мучиться, сгорая живьем, а толпа – смотреть, как корчится в огне несчастная жертва. Иногда мне кажется, что самые гуманные люди – это палачи. Во всяком случае, мы, палачи, придумали милосердную хитрость: при сожжении на костре мы ставим багор с острым концом для перемешивания соломы точнехонько против сердца осужденного, чтобы он мог лишиться жизни до мучений от огня...

Кого мы только не сжигали на кострах: еврея – потому что он не христианин; христианина – потому что он протестант; католика – потому что он стал атеистом... Люди приказывали – и мы сжигали! И они же нас за это презирают.

Почему же люди так презирают того, кого они же выбрали быть Исполнителем? Точнее – презирают и боятся... Боятся? Еще бы! При встрече со мной каждый невольно представляет себя в объятьях палача.

В заключение назову две самые простенькие казни – на виселице (для простолюдинов) и от меча (для дворян). Даже здесь, на последнем пути, – нет равенства.

Впрочем, Великая Революция отменила все эти многообразные ужасы и всех уравнила в смерти. Был принят закон: с 1790 года казнь для всех граждан стала единой – гильотина.

О том, что вышло из этого «облегчения», вы вскоре узнаете из моего рассказа.

Во Франции должность палачей – наследственная, передается от отца к сыну. Не важно, сколько тебе лет, когда умирает твой отец. С этого мгновенья ты – *палач!*

В нашем доме была комната, где висели мечи (каждый имел свою историю). Как справедливо заметил один из нас, свою профессию и свои мечи палачей – как скипетр королей – передавали мы, Сансоны, из рук в руки, от отца к сыну. А если после тебя не осталось сына, пусть приготовится муж твоей дочери – быть ему палачом!

Именно так стал палачом мой прадед Шарль Сансон – Сансон Первый.

Его предки были дворянами и участвовали в крестовых походах. Шарль Сансон родился в 1635 году. Вот он-то и женился на дочери палача города Руана. То ли это была безумная страсть, то ли попросту выгода: поговаривали, что Шарль впал тогда в большую бедность, а палачи очень неплохо зарабатывали...

Но уже вскоре тесть стал требовать от Шарля помощи на эшафоте.

В судебных актах города записана такая история: «Когда руанский палач потребовал от своего зятя нанести железным шестом удар преступнику, зять упал в обморок, и это сопровождалось хохотом толпы».

Но уже вскоре Шарль Сансон не только привык к казням – он преуспел в них. О его ударах мечом гремела такая слава, что после смерти жены ему тотчас предложили уехать из Руана и стать палачом Парижа. Он переехал туда и поселился в месте, которое народ звал «Дворцом палача». Это было мрачное восьмиугольное строение с башенкой, около которой привязывали приговоренных к позорному столбу. Рядом шумел парижский рынок – там прадед брал припасы и товары. Таков был закон: палач мог взять с рынка столько, сколько мог унести в руках. Но он уносил слишком много, и однажды толпа торговцев подошла к его дому. Тогда мой предок и решил переехать в пустынный квартал, называвшийся Новой Францией, – теперь это часть Пуассоньерского предместья.

Ему было за шестьдесят, когда он женился на молодой женщине – разумеется, тоже родственнице палача. И в 1703 году, в самом начале века, который сделает наше имя воистину знаменитым, Шарль Сансон передал свою кровавую должность моему деду, ибо «душа почтенного старца осветилась нежными утехами любви». Он захотел отдохнуть от крови.

Я не смогу перечислить всех, кого покарал меч моего деда – Сансона Второго, ибо он, к сожалению, весьма неаккуратно вел Журнал казней. Отмечу, пожалуй, только Картуша. Это был великий грабитель, о подвигах которого народ до сих пор слагает легенды. (Дед колесовал его в 1721 году на Гревской площади.)

Тогда было много грабежей, целые банды нищих разбойничали на дорогах Франции... Людовик XIV умер, оставив страну в состоянии печали и крайнего разорения. Правил пятилетний король, вернее, его регент – герцог Орлеанский, провозгласивший очаровательный закон: «Запрещено все, что мешает наслаждению».

И действительно, после мрачного аскетизма последних дней Людовика XIV двором овладело безумие удовольствий. Сам бедный регент попросту сгнил от дурных болезней – этими «дорогими наградами, полученными от самых разнообразных прелестниц», «доблестными ранами, заработанными на поле самого восхитительного из сражений», герцог поистине гордился.

В то время топор палача часто бездействовал, и жертвы были малопримечательны – в основном все те же грабители, доведенные нищетой до преступлений.

Сансон Второй умер в 1726 году, сорока пяти лет от роду. Он оставил двух сыновей – Жана и Николая. И несмотря на возраст, старший из них, семилетний Жан, был тотчас посвящен в звание палача.

А на время его малолетства обязанности палача были возложены на некоего месье Гаррисона. Он-то и заставлял несчастного ребенка присутствовать при казнях на Гревской пло-

щади, ибо без Исполнителя казнь незаконна и является попросту убийством. И маленькая кукла – мой будущий отец – стояла на кровавом эшафоте и смотрела, как рубили головы...

Я думаю, именно тогда нестерпимый ужас поселился в детском сердце – оттого Жан Сансон так недолго орудовал на эшафоте. Отца разбил паралич, когда мне было только семнадцать лет. Я уже упоминал о комнатке в нашем доме, где в полумраке на стенах висели мечи – наши родовые мечи палачей, – выбирай любой! С детства я любил приходить туда. В колеблющемся пламени свечи сверкали лезвия... На всех этих великолепных широких клинках с удобными рукоятками кованого железа было вырезано одно слово – ПРАВОСУДИЕ.

Я много слышал от матери о своих предках – как они страдали от человеческого презрения, как таились от людей, как редко выходили из дому, стесняясь взглядов прохожих... Ничего этого во мне не было – я с детства ощущал себя палачом и с гордостью готовился к этой роли. Я презирал людское презрение.

Когда я взошел на эшафот в первый раз, отец рубил голову знатному дворянину. Помню, как тот ослаб и как отец ободрял его – когда-то гордого вельможу. Мне понравилось... И когда отец, побежденный болезнью, более не мог действовать мечом – меч оказался в надежных руках. Может быть, впервые в нашем роду за него взялся тот, кто хотел быть палачом.

Однако больной отец прожил еще два десятилетия. Все это время я без него орудовал на эшафоте, но... отец был жив, и потому он по-прежнему считался палачом города Парижа. С трудом шевеля ногами, тяжело дыша, он поднимался на эшафот и стоял в стороне – наблюдал за моей работой... Исполнителем я был утвержден только после смерти отца в августе 1778 года.

Между тем работы становилось больше – король старел, характер у него портился... И все чаще мне приходилось встречаться на эшафоте со знаменитостями. Вся Франция следила за моим топором, когда четвертовали беднягу Дамьена, покусившегося на жизнь самого короля.

Это случилось холодной ночью: король направлялся к карете, дрожа в своем модном рединготе (он был великий модник, наш Луи XV). Он уже было поставил ногу на подножку, когда этот Дамьен – самый что ни на есть простолюдин, чей-то слуга – проскользнул мимо гвардейцев к королю и нанес удар кинжалом. По воле Всевышнего лезвие прошло между ребрами и не задело ни одного драгоценного органа короля.

Дамьена схватили, и я его четвертовал... Как мучился этот несчастный, когда мы с помощниками рвали его тело клещами, когда раздирали его плоть на части мчавшиеся в разные стороны лошади... На эшафоте со мной был дядя Николя – палач дворцового ведомства. Но всей длинной и ужасной казнью руководил я, и выдержал, а вот несчастный дядя сразу отказался и от должности Исполнителя приговоров дворцового ведомства, и от довольно большого дохода – 24 000 ливров в год. Так я стал единственным палачом города Парижа.

Впоследствии, в дни Революции, я вспоминал этого Дамьена, вернее, его странное послание королю. Вот оно: «Я глубоко скорблю, что имел несчастье к Вам приблизиться и смел причинить Вам боль... Но если Вы, Ваше Величество, не перейдете на сторону Вашего народа, то в самое короткое время, может быть, через несколько лет, Вы сами, и дофин, и еще некоторые лица неизбежно должны будете погибнуть».

Королю эти слова, конечно же, показались безумием. Но уже его сыну они покажутся пророчеством.

Именно тогда, после смерти Дамьена, мне попался на глаза Журнал отца, в котором он записывал имена жертв и подробности казней. Оказалось, все мои предки заполняли Журнал – правда, бегло и плохо. Я решил продолжить сей кровавый реестр, но куда аккуратнее и подробнее – будто предчувствовал, со сколькими замечательными людьми мне доведется встретиться... увы, на эшафоте!

Между тем отец мой хирел на глазах Но у него были мы – семеро сыновей, унаследовавших его ремесло. Теперь Сансоны рубили головы в Реймсе, Орлеане, Суассоне, Монпелье, Дижоне... И когда мы сходились у отцовского стола, слуги почтительно называли нас по местам службы – Месье де Реймс, Месье д'Орлеан, Месье де Дижон...

Эти домашние прозвища вскоре стали официальными. Так я стал называться Месье де Пари.

Никто никогда не смел говорить в доме о крови, об эшафоте.

Наши беседы с братьями за столом были самыми светскими, самыми возвышенными – о пьесах месье Мольера, о чудачествах месье Вольтера, о музыке месье Рамо... Кстати, все мои братья-палачи (впрочем, палачами мы никогда себя не называли, только официально – Исполнителями) обожали музыку и превосходно играли на самых разнообразных инструментах. Я, Месье де Реймс, Месье д'Орлеан и Месье де Дижон составляли превосходный квартет.

Но если все-таки приходилось говорить о казни, мы называли ее «делом». Допустим: «Мне придется завтра встать пораньше – у меня дело».

И все! И баста!

Кроме братьев, редко кто посещал наш дом. Да что я говорю – «посещал»! Люди старательно мыли руки, если случайно здоровались с нами. Аббат Гомар был одним из немногих, которые тогда решались приходить к нам. Этот францисканец часто стоял на эшафоте вместе с Исполнителем – помогал несчастным осужденным встретить последний час.

Палач направлял их к Всевышнему, священник – напутствовал.

За столом после рюмки хорошего вина отец Гомар бывал весьма словоохотлив. И однажды я узнал, что у него есть племянница – Жанна де Вобернье, существо очаровательное, но совершенно погрязшее в пороке. По словам аббата, Жанну сгубила ее замечательная красота: «Как жаворонка заманивают в клетку блеском зеркала, так одна проклятая куртизанка заманила мою пташку прелестями легкой жизни и посеяла в ней семена порока, как-вые теперь дали такие пышные всходы!»

Порок меня тогда не особенно отпугивал, а красота привлекала. Я выведал у аббата, где живет сия порочная красавица, и, убедив себя (для облегчения души), что я должен вернуть ее на стезю добродетели, стал караулить у ее дома.

Это очень длинный рассказ – как я сумел очутиться в ее доме, как предстал перед нею (естественно, назвавшись иным именем), как увидел эти лазоревые глаза, эти коралловые губки и неправдоподобно роскошную копну белокурых волос...

Жанна полулежала на красном диванчике. Я пал к ее ногам...

Что было потом – я унесу с собой в могилу.

Впоследствии моя красавица Жанна, столь щедрая на любовь, пленила стареющего короля. Да, это была она – та, которая сделалась всевластной графиней Дюбарри. Она правила и сердцем короля, и Францией...

Но это потом... А тогда, во время наших встреч, она любила вспоминать, что родилась в Вокулере – в той самой деревушке, где родилась другая Жанна – Жанна д'Арк.

Она уже тогда была уверена в своем предназначении и говорила мне, что у нее будет что-то общее с судьбой той, великой Жанны. Что ж, она не ошиблась – они обе приняли нелегкую смерть.

Еще я помню, как однажды, уговаривая ее о свидании, я сказал жалкую фразу безнадежно влюбленного:

– Не прогоняйте меня, я могу вам еще пригодиться!

И я тоже не ошибся! Я пригодился ей – через двадцать лет на эшафоте.

Все эти годы я ее не видел, но имя Дюбарри было у всех на устах. Перед самой Революцией о ней много говорили в связи с «Делом об ожерелье королевы». (Впрочем, и мне пришлось сыграть печальную роль в этом деле.)

Госпожа де ла Мотт, потомка незаконного сына Генриха II, вышла замуж за бедного королевского телохранителя. Нужду она, в чьих жилах текла кровь древней королевской династии Валуа, сочла для себя незаслуженной участью. И придумала, как обогатиться.

Она узнала, что у парижских ювелиров находится необычайно дорогое ожерелье, которое покойный король предназначал для Дюбарри, но не успел выкупить. После его смерти казна была столь разорена, что королевской чете пришлось отказаться от ожерелья (хотя Мария Антуанетта была от него в восторге). Де ла Мотт придумала великолепную интригу...

Кардинал де Роган мечтал о красавице королеве. И де ла Мотт устроила ему встречу с ней, и королева попросила его купить для нее ожерелье. (На самом деле роль королевы сыграла некая девица Олива, необычайно на нее похожая.)

Кардинал согласился, и муж де ла Мотт уехал с этим баснословным ожерельем в Англию. Но все разъяснилось, мошенницу де ла Мотт схватили и приговорили к клеймению и розгам. Так наступил мой выход в этом спектакле.

Около шести утра мои помощники разложили ее на эшафоте во дворе тюрьмы Консьержери. Она кричала и проклинала нас. Я дал ей двенадцать ударов розгами – двенадцать ударов по заднице особе королевской крови!

После розог, когда она – с распущенными волосами, в изодранном платье – как пантера металась по камере, я связал ее, взял железо из жаровни и придавил к ее телу. Связанная, она продолжала отбиваться, и лишь кое-как мне удалось наложить клеймо и на другое плечо...

В ушах у меня до сих пор стоит ее крик: «Ты, жалкий палач, смеешь прикасаться к телу королей, ты, грязный ублюдок!»

Она была права – это было мое первое надругательство над королевской плотью.

Была она права и в другом – для людей я был ублюдком, вызывавшим в них страх и отвращение.

И они мне постоянно это доказывали.

Помню, однажды познакомился я с дамой. Благородной дамой. Я был тогда молод, хорош собою, высок, великолепно сложен. У женщин я имел большой успех (естественно, под чужим именем). Я старался изысканно одеваться, хотя и не мог носить голубой цвет – цвет французского дворянства. Однако я не стал рыться в древних пергаментях и поднимать вопрос: лишает ли должность палача звания дворянина. Я попросту заказал себе самое дорогое платье, но из светло-зеленого сукна. Оно так хорошо на мне сидело, что этот цвет вошел в моду, и щеголи при дворе начали носить вместо голубого мой светло-зеленый.

Именно тогда я обратил на себя внимание маркизы X. Мы встретились на обеде, оживленно беседовали. На вопрос о моей службе я ответил, что состою офицером при Парламенте (что было почти правдой – ведь я исполняю высшие приговоры Парламента). Но кто-то из гостей узнал меня, и, когда я ушел, госпожа X. узнала всю правду. Клянусь, она не была бы в большей ярости после знакомства с величайшим преступником!

Она даже подала жалобу в Парламент – требовала, чтобы меня выставили у позорного столба, чтобы я просил у нее прощения с веревкой на шее!

И тогда я выступил в Парламенте и спросил: как я мог обидеть ее знакомством со мною? Сам Бог влагает меч правосудия в руки короля, но, разумеется, сам король не может карать преступников, и он доверяет меч нам – Исполнителям! Я – хранитель меча правосудия, которое составляет атрибут королевской власти. Я укрощаю безумие преступных граждан, и только тупая чернь смеет покрывать позором мое звание. Приходится только сожалеть, что сие предубеждение разделяют порой и порядочные люди...

Они не посмели меня осудить, но их лица выражали презрение и брезгливость. Они старались не смотреть на меня...

Что же касается маркизы Х. – впоследствии ей пришлось оценить важность моего занятия. В дни Великой Революции она вновь встретила со мной – на эшафоте. И это я опустил на ее глупую голову нож гильотины.

Тогда же я женился. Мне опостылело заниматься любовью под чужими именами. Сколько раз после страстных объятий я видел столь же страстное отвращение, как только намекал на свою работу! И вот мне посчастливилось.

В то время окрестности Монмартра были заняты огородами бедняков. Там я и познакомился с бедным семейством одного огородника. Его милой и доброй дочери было за тридцать, она уже смирилась с тем, что останется старой девой.

Вскоре я понял, что вместо ужаса и отвращения, к которым так привык, я внушаю ей сострадание. Тогда я попросил ее руки и получил радостное согласие.

На свадьбу съехались все Сансоны. Среди долгого хмельного застолья ни один не обмолвился о нашей работе. И Месье д'Орлеан, и Месье де Реймс, и прочие братья веселились как обычные добрые буржуа.

Кровь осталась за дверью.

Я купил дом на улице Шато д'О под номером 16. Моя жена разбила там великолепный цветник.

Скоро она подарила мне сына. Веселый младенец играл среди цветов, не подозревая, какое я приготовил ему будущее.

Мы зажили тихо и замкнуто. Жена ввела в доме обычай – дважды в день мы собирались на молитву... И еще она следила за слугами, чтобы никто из них не позволял и намека на занятия хозяина...

Так я жил, тщетно борясь за свое достоинство, пока не грянула она – наша Великая Революция. С эшафота далеко видно, и я раньше многих понял, что она придет.

Это случилось в августе 1788 года. Очередная казнь должна была состояться в Версале, где пребывали тогда двор и король. Осужденный, некий Лушар, совершил отцеубийство – случайно, защищаясь от обезумевшего в гневе отца. Его приговорили к колесованию. Толпа была явно недовольна приговором. Эшафот воздвигали под угрожающий ропот.

Когда Лушар взошел на помост, люди вдруг с яростными криками бросились к месту казни. Они освободили осужденного и водрузили колесо, где должен был мучиться несчастный, на разломанные доски эшафота. Запылал огромный костер. И люди, взявшись за руки, плясали и пели, пока горел он – мой эшафот!

Палачи понимают толпу: люди взбунтовались не из-за несчастного Лушара. Они бунтовали против короля, они хотели беспорядка, они наслаждались погромом...

А король и двор были беспечны. В тот день в Версале был бал, и там тоже весело танцевали – в отсветах грозного костра... Революция упадет как снег на их головы!

Его Величество Людовик XVI... Его бедное жалкое Величество! Я три раза встречался с несчастным королем.

Первый раз я увидел его в связи с денежным затруднением: мне не заплатили жалованье – в казначействе не было денег. Я подал жалобу королю и был вызван в Версаль.

Я остановился на пороге залы, сверкающей мрамором, зеркалами и позолотой. Король не пригласил меня войти. Он стоял спиной ко мне и так провел всю аудиенцию.

– Я приказал, – молвил он, не оборачиваясь, – заплатить вам указанную сумму.

Именно тогда, рассматривая его спину – эту презирающую меня спину, – я отметил сильные мускулы шеи, выступавшие из-под кружевного воротника.

На прощание ему все-таки пришлось обернуться. И король – клянусь! – не смог скрыть ужаса. Нет, это не был обычный трепет человека при виде палача. Это был ужас!

Он будто почувствовал, где я увижу вновь эти мускулы шеи...

И еще: при выходе из дворца я увидел двух женщин. Одна была – сама величественность и надменность, другая – сама доброта. Это были они: королева и сестра короля – принцесса Елизавета.

Так в один день я увидел всех венценосных особ, которые падут от моей руки...

Как весело началась Революция! С какой праздничной легкостью народ овладел Бастилией! Правда, во всей «зловещей тюрьме тирана» оказалось всего несколько заключенных (один из них был безумен и никак не хотел покидать камеру).

Я буду часто вспоминать почти пустую Бастилию, проходя по переполненным революционными тюрьмам.

Свобода, Равенство и Братство! Или Смерть! О Великая Революция!

Равенство и Братство... Уже 23 декабря 1789 года (этот день – навсегда в моем сердце) на заседании Национального собрания разгорелась дискуссия. Депутаты предложили уничтожить унижительные ограничения, существовавшие для некоторых профессий. В частности, для нас (Исполнителей приговоров) и театральных актеров.

С актерами было все ясно, но палачи стали предметом дискуссии. Два выступления я переписал в Журнал.

Депутат аббат Мари: «Это не предрассудок и не предубеждение. Это справедливость. Каждый человек должен испытывать содрогание при виде господина, хладнокровно лишаящего жизни своих ближних. Это основано на понятиях Чести и Справедливости».

И тогда поднялся бледный щуплый человек. Он также (правда, несколько монотонно) заговорил о величии Свободы, Равенства и Братства, о неперменном торжестве Всеобщей Справедливости. И потому, заключил он, человек не может быть лишен своих законных прав за исполнение обязанностей, предписанных ему во имя Закона!

Так я в первый раз увидел Робеспьера. И так Революция дала палачам равные права с другими гражданами. Разумные люди даже требовали запретить само постыдное слово «палач» и ввести только наше официальное наименование – «Исполнитель высших приговоров уголовного суда». Но это предложение как-то утонуло в речах...

Депутаты обожали говорить.

Я часто встречался с депутатом Национального собрания доктором Гийотеном. Только впоследствии я оценил, каким великим человеком он был. Ибо он, Гийотен, предчувствовал будущее. Не будь его, мы, Исполнители, попросту задохнулись бы в потоке жертв, которые поставит нам Революция. Куда мне, единственному парижскому палачу, было справиться с

той бесчисленной чередой осужденных, которую когда-то предсказал несчастный Казот? Здесь и армия палачей не справилась бы!

Гийотен был совершенно свободен от предрассудков в отношении моей профессии. Мы часто собирались у меня дома и музицировали. Он превосходно играл на клавесине, я – совсем недурно на скрипке.

И вот однажды играли мы арию из «Тарара» и размышляли о едином и равном для всех наказании – эта проблема очень занимала Гийотена.

– Виселица? – спросил он.

– Нет, – ответил я, – трупы повешенных сильно обезображиваются. Это портит нравы – ведь преступники подолгу висят на потеху толпе.

И мы опять играли. И размышляли.

– Нет, что ни говорите, доктор, – высказал я свое мнение, – но отсечение головы – самый приличный способ казни. Недаром его удаивались одни привилегированные сословия.

– Правильно, – сказал он. – Но благодаря равенству перед законом, теперь этим способом могут пользоваться все!

Я прервал его восторги:

– Вы представляете, сколько теперь может быть таких казней? – (О, если бы мы могли тогда представить!) – И какая должна быть верная рука у палача и твердость духа у жертвы? А если осужденных много, то казнь может обратиться в страшные муки вместо облегчения...

Я привел много доводов. Мы опять задумались и продолжили нежную арию. И тут Гийотен высказал то, о чем я давно думал:

– Надо найти механизм, который действовал бы вернее руки человека! Нужна *машина!*

– Bravo! – воскликнул я.

И Гийотен стал еще чаще заходить ко мне – обсуждать, какая это должна быть машина. К счастью, был еще один музыкант, который порой присоединялся к нам. Это был немец – некто Шмидт.

В тот вечер мы составили великолепное трио, но наше музицирование весьма часто прерывалось рассуждениями о будущем аппарате.

– Там должна быть доска, и обязательно горизонтальная, чтобы осужденный лежал неподвижно... это очень важно, – говорил я.

– Именно, именно, – восторженно подхватывал Гийотен, играя нежнейшую арию из «Орфея и Эвридики».

Шмидт внимательно слушал наш разговор. Надо сказать, что он был механиком, занимавшимся изготовлением фортепьяно. Когда Гийотен ушел, Шмидт молча подошел к столу и набросал рисунок карандашом.

Это была *гильотина!*

– Но мой не хочет замешивать себя в этой штук... не надо говорить про мой... – сказал Шмидт.

Я взглянул на рисунок и не смог удержаться от крика восхищения. Там было все, о чем может мечтать палач: дернул за веревку – и лезвие ножа скользит между двух перекладин, падает на шею привязанного к доске осужденного... О, как это облегчало наш нелегкий труд – теперь любой гражданин мог стать палачом!

Я расцеловал Шмидта, и, чтобы унять охватившее меня возбуждение, мы продолжили играть нежнейшую арию. Уже на другой день я зашел к Гийотену. Он был вне себя от счастья!

Я присутствовал на заседании Национального собрания, когда Гийотен восторженно сообщил о новом изобретении. Как и хотел того Шмидт, о его участии не было сказано ни слова. И аппарат был назван (и совершенно справедливо) в честь отца идеи – доктора Гийотена!

Помню, описывая достоинства машины, добрейший Гийотен забавно сказал:

– Это гуманнейшее из изобретений века. Осужденный почувствует лишь слабый ветерок над шеей... Поверьте, этой машиной я так отрублю вам голову, что вы даже и не почувствуете.

Как хохотали граждане депутаты! Они не знали, что большинству из них предстоит испытать справедливость слов доктора – на собственной шее. Вот тогда и произошла моя вторая встреча с королем. Национальное собрание поручило доктору Луи, лейб-медику короля, высказать свое мнение о гильотине. В обсуждении должны были принять участие доктор Гийотен и, конечно, я – Исполнитель.

Стояла теплая весна 1792 года. Мы приехали в Версаль и прошли через сразу опустевший дворец – увидев нас, несколько слуг с жалкими, испуганными лицами тут же попрятались.

Лейб-медик принял нас в кабинете, за столом, покрытым зеленым бархатом. Когда мы обсуждали рисунок Шмидта, открылась дверь и вошел он – король! Он был в темном платье. Его приход меня не удивил – я знал, что король обожает слесарничать и сам выдумывает всякие механизмы. К тому же он продолжал считать себя главой нации, и перемена в системе исполнения наказаний не могла не интересоваться его.

Король, нарочито не замечая нас, обратился к доктору Луи:

– Что вы думаете об этом?

– Мне кажется, что это весьма удобно...

– Но уместна ли тут полукруглая форма лезвия? Ведь шеи бывают разные: для одной круг будет чересчур велик, для другой – мал... – Он поправил рисунок (заменял полукруг кривой линией) и, стараясь не глядеть на меня, спросил лейб-медика: – Кажется, это *тот* человек? Спросите его мнение о моем предложении.

– Я думаю, замечание превосходно, – сказал я.

Действительно, испытания доказали верность замечания короля. И в этом король смог убедиться сам – во время нашей третьей, последней встречи...

20 марта Национальное собрание одобрило гильотину. Добрый Гийотен был вне себя от счастья – он избавил осужденных от страданий. Я не стал говорить этому славному человеку, что есть тайна, известная любому палачу: помимо мучений от самой казни, жертвы испытывают страдания, которые следует назвать посмертными, ибо наши ощущения продолжают существовать некоторое время и *после нашего конца*. И несчастные чувствуют нестерпимую боль после отсечения головы...

Собрав братьев в моем доме, я рассказал им об изобретении, менявшем в корне нашу жизнь. И Месье де Реймс, и Месье д'Орлеан, и Месье де Дижон были согласны со мной – великое изобретение! Это был первый и последний разговор за семейным столом о нашем занятии.

Между тем Революция принялась за дело. 10 августа подстрекаемые городской Коммуной толпы ворвались в королевский дворец. Король и его семья бежали под защиту Национального собрания, но оно уступило яростным революционерам из Коммуны, и король был отрешен от власти.

Его отправили в тюрьму – в Тампль.

Парижем и страной начали фактически править люди из городской Коммуны. Их вождем был некий Марат. Я помню желчное лицо этого гражданина, его желтые буравящие безумные глаза. У него было воспаление вен, и все тело его гноилось – я думаю, от этого зуда он и пребывал в постоянном бешенстве. Он всюду видел заговоры, всюду искал (и находил!) врагов Революции. «Друг народа» – так звала этого полубезумца восторженная толпа.

«Друг гильотины» – так назвал бы его я.

Они распустили Национальное собрание, избрали послушный им Конвент. Напрасно Лафайет пытался повернуть свою армию, подавить мятеж в Париже – солдаты его не слушались. И Лафайет, вчерашний кумир Революции, бежал в Германию.

Австро-прусская армия вступила во Францию. В ответ – ярость и кровь! И террор! Так моя гильотина стала главным действующим лицом – на нее теперь были обращены все надежды нации. Спасение в крови!

19 августа я приехал с осужденным фальшивомонетчиком на Гревскую площадь, но услышал крики: «Пошел на Дворцовую, Шарло!» Толпа по наущению Коммуны пожелала перенести гильотину под окна королевского дворца.

И они с ревом взялись за дело! Как любят они разрушать! Какой энтузиазм! Какое вдохновение!

Я не успел и глазом моргнуть – уже весь эшафот был разобран! Люди перенесли тяжелые доски на неизвестно откуда взявшиеся подводы – и двинулись, счастливые, в путь, ко дворцу, на площадь, которая отныне стала именоваться площадью Революции. И конечно, они распевали революционные песни и плясали.

Теперь все будет происходить под песни. Каждая казнь будет заканчиваться счастливым песнопением народа. И плясками. Причем в толпе у гильотины я буду часто видеть одни и те же лица.

Тогда, в начале, я так любил и эти песни, и эти лица – одухотворенные и грозные, как сама Великая Революция. Да и как мне их было не любить! Ведь это были первые люди за всю мою жизнь, которые смотрели на меня, вечно презираемого палача, не только без отвращения и страха – но с восхищением! Среди них было много молодых женщин – неистовых и прекрасных в своем революционном гневе.

Мои казни стали напоминать гигантские театральные представления, где я, презренный когда-то Сансон, был главным и любимым актером. Именно в те дни появилась традиция – показывать площади, заполненной тысячами людей, отрубленные головы аристократов.

Какой это был революционный порыв! Правда, не все могли его выдержать...

«С любимой рай и на эшафоте», – сказал я себе тогда, во время казни несчастной подружки моей грешной юности. Дюбарри осудили вечером, а уже наутро я ждал ее в канцелярии. Сначала привели отца и двух сыновей из семейства Ванденивер – они были осуждены как «соучастники в ее преступлениях против народа». Вместе с ними я должен был казнить троицу фальшивомонетчиков.

Я закончил их предсмертный туалет – и привели ее. Я не видел ее двадцать лет, и сейчас, когда она шла за перегородку, где готовили к смерти осужденных, я не узнал прекрасные черты, искаженные безумным ужасом. Лицо, помятое после бессонной ночи, распухло от слез.

Я не успел спрятаться. Мгновение она смотрела на меня, видимо, силясь что-то вспомнить, потом отвернулась. Я с облегчением вздохнул – не узнала! И вдруг она бросилась передо мной на колени с криком:

– Я не хочу! Не хочу!

Потом поднялась и спросила лихорадочно:

– Где здесь судьи? Я еще не все сказала!

И я испугался – а вдруг узнала? Уже наступило страшное время, и достаточно ей было рассказать про нашу связь – я тотчас был бы объявлен пособником врагов Республики. И конец!

Пришли судьи. Я с тревогой вслушивался в ее сбивчивую речь... Но она сообщила лишь о каких-то жалких двух бриллиантах, которые ей удалось спрятать. Несчастная тянула время! И судьи сурово сказали ей, что она разоряла французскую казну, заставляя покойного короля тратить на нее народные деньги; упомянули о каком-то заговоре, который она возглавляла (тогда уже всех обвиняли в заговорах – это было самое употребительное слово); и заявили, что ей предоставлена народом *великая милость* – кровью искупить свои преступления.

Этими судьями были граждане Денизо и Руайе. С ними пришли еще два депутата Конвента. Пришли поглазеть на когда-то всемогущую красавицу – как она будет умирать!

Кстати, с Денизо и Руайе я тоже встречусь на эшафоте. В той же канцелярии я приговлю их к смерти, теми же ножницами отрежу волосы и повезу на той же телеге, что и мою маленькую Дюбарри...

Я велел помощникам начинать готовить ее. С искаженным, ставшим таким безобразным лицом, она боролась с ними. Трое держали ее, пока четвертый срезал роскошные волосы, готовя ее к объятьям гильотины.

Потом я взял с собой несколько локонов и долго вспоминал запах ее волос, запах моей юности...

Наконец она впала в забытие и позволила связать себе руки. Только горько плакала, все время плакала... Я посадил ее на свою телегу, сел впереди и всю дорогу не оборачивался: боялся – узнает! И всю дорогу – горькие рыдания, каких я не слышал никогда в жизни. А я знаю в этом толк – много было рыданий в этой телеге!

Все улицы были заполнены народом, и наши славные патриоты кричали: «Да здравствует Республика! Смерть королевской шлюхе!» – и приветствовали меня, славного Шарло, который так ловко отправляет на небеса врагов Республики.

Мне было приказано казнить ее последней, чтобы она испытала весь ужас ожидания смерти. Но двадцать лет назад я сказал ей правду – теперь я ей пригодился! При виде гильотины она упала в обморок, и я тотчас велел нести ее на эшафот – первой! Однако она немедленно пришла в себя, стала отбиваться, и все обращалась ко мне, все кричала:

– Минуточку, еще только одну минуточку, господин палач!

Мы встретились глазами, и в этот миг, клянусь, она меня узнала! И тогда я приказал помощникам – быстрее! Она продолжала сражаться с ними, пока они торопливо привязывали ее к доске. И все кричала, все молила меня:

– Минуточку, господин палач, еще одну минуточку!.. Я дернул за веревку – все было кончено!

Был обычай – показывать отрубленную голову народу. Но я не мог поднять эту голову, которую целовал когда-то... И вот юнец в красном колпаке выскочил на эшафот и потребовал показать ее голову!

Народ грозно гудел. Я предложил юнцу помочь мне – сделать *это* самому, если он, конечно, не боится крови. Он прокричал в толпу, что кровь врагов народа доставляет ему только радость! И народ аплодировал ему.

Я попросил его открыть кожаную крышку ящика, куда скатывались головы несчастных. Мне показалось, что он побледнел... Но наклонился, достал голову, подошел к краю

эшафота и... рухнул вместе с ее головой! Она катилась по помосту, а он лежал без движения. Доктор потом сказал, что его сразил апоплексический удар.

Я так и не знаю до сих пор, что его убило – ужас или то, что происходило в те мгновенья в душе моей...

Я был хорошим патриотом, но что-то во мне изменилось. Да и не только во мне. Отошли от Революции многие благородные люди, но она уже выбрала себе новых кумиров. Теперь власть колебалась между двумя партиями, готовыми уничтожить друг друга...

Каждый день я наблюдал кровавое бешенство толпы. Люди сходили с ума от ненависти, они будто лакомились кровью, их жажда казней перешла всяческие границы. И я мог легко предсказать: победит та партия, которая лучше сумеет угодить этой всеобщей ненависти против прежних богачей.

С эшафота будущее видится достаточно ясно. Я увидел его еще до казни несчастной Дюбарри. Жирондисты (умеренная партия) должны были проиграть. Впрочем, такого легкомысленного слова, как «проиграть», Революция не принимает. Только одно слово признает она – «умереть».

Появилась новая профессия – *ненавистник*. Это были одни и те же люди. Утром я их видел в Конвенте, где они аплодировали кровавожадным речам ораторов, а по вечерам они сами произносили не менее кровавожадные речи в клубах. Они же стояли в первых рядах около моей гильотины – с вечно раскрытыми ртами для проклятий и революционных песен. Именно тогда я обратил внимание, как изменились за это время их лица – особенно у женщин. От вечных гримас ненависти, от постоянных криков ярости у них стали лица фурий!

Помню, 10 августа (в годовщину штурма королевского дворца) я открыл окно, чтобы освежить воздух, и увидел молодого человека, сопровождаемого пляшущей и распеваящей песни толпой. Он нес на палке... человеческую голову!

Теперь они устраивают самосуды повсюду. Вид толпы, вздернувшей на пики головы аристократов и орущей при этом «Да здравствует Республика!», давно уже никого не удивляет.

Ненавистники правят толпами, ибо Революция – это буря, и в ней действует закон пены, непременно выплывающей наверх!

Вопрос о судьбе короля был лишь предлогом в борьбе за власть между партиями. Жирондисты решили уступить народной кровожадности – и голосовать за смерть короля.

11 декабря несчастный король предстал перед судом Конвента. Впрочем, судьба его была решена еще до суда.

Верно сказал его защитник:

– Я ищу среди вас судей, а вижу лишь одних обвинителей. И верно сказал обвинитель:

– Это процесс целой нации против одного человека.

Его убийство хотели сделать символом. «Казнь короля должна укрепить народную свободу и спокойствие... Призрак должен исчезнуть». Это были слова Робеспьера. И 18 января жирондист Верньо, которому выпало в тот день председательствовать в Конвенте, огласил приговор.

Скоро, скоро я повезу на гильотину и Верньо... Но пока пришла очередь короля.

Король попросил отсрочить казнь – они ему отказали, позволили лишь проститься с семейством и отправиться к эшафоту в карете со священником.

Казнь была назначена на 20 января. Вечером 19-го я получил приказ: за ночь поставить эшафот и ожидать осужденного к восьми утра.

Были приняты невиданные меры предосторожности – даже мне, вопреки обычаю, не разрешили сопровождать короля на казнь.

Накануне в почтовом ящике я нашел множество писем. В одних говорилось, что короля освободят по дороге из Тампля на площадь Революции, и меня грозились убить, если я окажу сопротивление заговорщикам. В других письмах меня умоляли затянуть казнь, чтобы дать возможность решительным людям пробиться к эшафоту и увести короля.

В то время уже работало множество шпионов, и письма граждан вскрывались. Так что я почел за лучшее отнести эти послания в Комитет Общественного Спасения.

Но один молодой человек пришел в мой дом и умолял принести ему одежду короля. Он надеялся в толпе поменяться с ним местами. Я назвал его безумцем и выгнал. Пришлось сообщить в Комитет и о нем. Надеюсь, я не навредил этому юноше – я ведь не знал его имени...

Печальное совпадение: 20 января – годовщина моей свадьбы, и в этот же день я должен был обручить короля с гильотиной. Моя бедная жена убрала все приготовленные яства, и всю ночь мы провели в молитве.

Все-таки *король!* Помазанник Божий!

Я хорошо помнил его презрение, его отвращение ко мне – тогда, в Версале. Он даже не глядел на меня! Теперь ему предстояло в последний час быть рядом со мной. Если бы кто-то шепнул ему об этом на ухо во время того нашего свидания!

На рассвете загремели барабаны – каждый округ должен был направить батальон национальной гвардии для охраны воздвигнутого ночью эшафота. Мой сын в составе одного из батальонов отправился на площадь. Товарищи смотрели на него с уважением. Еще бы – сын палача и сам будущий палач, которому предстоит убивать врагов Республики.

Пора было и мне на площадь. Но не так-то легко идти казнить короля.

Меня бил озноб, и я почему-то шептал: «Жертва принесена!»

В семь часов утра мы с братьями (палачами Руана, Орлеана и Дижона, приехавшими помочь мне в этот исторический день) сели в фиакр. Но улицы были до того запружены народом, что только около девяти мы добрались до площади Революции.

Когда-то эта площадь носила имя его отца – Людовика XV. Это было всего несколько лет назад, но теперь казалось – прошла целая вечность. Ибо с тех пор ушел целый мир.

Итак, мы приехали на площадь, заполненную народом – тысячами людей. Я и братья были вооружены – под плащами у каждого, кроме шпаг, было по кинжалу, по пистолету, и карманы набиты пулями.

Эшафот был окружен национальными гвардейцами и жандармами. Батальон марсельцев пришел с пушками и навел их на гильотину. Все были уверены, что короля попытаются освободить, но... никакой попытки не было.

С эшафота я увидел, как со стороны церкви показалась карета, окруженная двойным строем кавалеристов. Карета подъехала. Король сидел сзади, рядом с ним священник.

Людовик вышел из кареты. Народ, теснившийся за кольцом войск, замолчал. Только грохот барабанов!

Он узнал меня и кивнул – так началась наша третья встреча.

Мой брат, руанский палач, подошел к королю и, обнажив голову, попросил «гражданина Капета» снять камзол и позволить связать себе руки. И тут началось – король возмутился и отказался. Брат сказал, что придется применить силу, и двое других моих братьев приблизились к королю.

– Вы осмелитесь поднять на меня руку? – спросил Людовик.

– Вы не в Версале, гражданин Капет. Вы у ступеней эшафота. Положение спас священник. Он сказал:

– Уступите, Ваше Величество, и вы пойдете по стопам Христа. Он вознаградит вас.

И тогда король молча протянул руки. Я осторожно связал их, не причинив ему боли. Но на этот раз мы поменялись местами – теперь я старался не глядеть ему в глаза...

Священник дал ему приложиться к Образу Спасителя.

И король поднялся ко мне – на эшафот.

– Пусть смолкнут барабаны! – Он повелительно поднял связанные руки.

К моему изумлению, барабанщики выполнили его приказ! Людовик обратился к толпе:

– Французы, вы видите – ваш король собрался умереть за вас. Пусть же моя кровь прольется для вашего счастья. Я умираю невинным...

Ему не дали договорить. Раздались команды, и вновь загремели барабаны. Король пытался еще что-то сказать, но не смог. В одно мгновение мы привязали его к доске. И лезвие гильотины полетело на его голову...

– Отойди в лоно Господа Бога, сын Святого Людовика, – только и прошептал священник.

Всю ночь я не спал – ходил по комнате.

С тех пор картина казни стоит передо мной даже во сне. Все двадцать лет я вижу ее... вижу, как удалялась телега с обезглавленным телом...

Тело короля было брошено в яму с негашеной известью на кладбище у церкви Мадлен. Я нашел священника и тайно отслужил заупокойную мессу.

После казни короля – началось! Люди сделались будто безумными. Теперь постоянное пролитие крови стало странной потребностью. Началась новая эра – эра крови, и разверзлась бездонная яма, в которой все они исчезнут. Все, погубившие его...

Со времени казни Людовика гильотина уже не снималась с площади Революции. И две красные балки – кровавые балки! – с висящим топором грозили городу.

Покойный король помогал умирать своим подданным. Я помню дворянина из Пуату, которому я рубил голову. Когда телега остановилась у эшафота, он спросил меня:

– Та ли это гильотина?

Я понял, о чем он спрашивает.

– Та самая. Переменили только лезвие.

И тогда он счастливо улыбнулся, радостно взошел на эшафот, встал на колени и поцеловал то место, где пролилась кровь короля.

Этот дворянин был эмигрантом, рискнувшим вернуться во Францию проведать свою любовницу. Он был и первой жертвой, которую я обезглавил по решению недавно созданного Революционного Трибунала.

Голод, наступление армий неприятеля и ужас перед грядущей расправой заставили друзей Республики сплотиться. Ораторы в Конвенте обещали народу: уничтожение врагов Равенства избавит от всех бед. Террор необходимо усилить!

Так был создан Революционный Трибунал.

Неистовый Шометт, Генеральный прокурор Парижской Коммуны, под пение и яростные вопли, сотрясавшие древние стены Ратуши, кричал в толпу:

– Мы принесем в жертву всех злодеев! И только тогда покой и благоденствие воцарятся в торжествующей Республике!

Я явился на первое заседание Трибунала. Зал был декорирован в суровом духе столь любимого нашей Революцией республиканского Рима. Судьи сидели в креслах, обитых кроваво-красным бархатом, на фоне бюста Брута, вдоль стен, разрисованных античными символами – пучками дикторских прутьев и красными фригийскими колпаками.

Конечно, я присутствовал при избрании Конвентом этих новых революционных судей, которые теперь «не были стеснены никакими формами при производстве дел» и могли «употреблять все возможные средства при изобличении преступников». Отныне «приговор мог оглашаться в отсутствие обвиняемого и обжалованию не подлежал», а «все преступления против общественной безопасности передавались в Трибунал».

В Трибунале заправлял общественный обвинитель Фукье-Тенвиль. Он был сух, бесстрастен и признавал только одно наказание – смерть.

Я понял: мне предстоит невиданная работа. И оказался прав. Огрызавшаяся террором Республика отправит на тот свет больше людей, чем все мои предки-палачи, вместе взятые.

Я хорошо подготовился. Старая гильотина была снята, поставлена новая, куда я внес некоторые усовершенствования, чтобы можно было производить больше казней.

Удобное (в двух шагах от площади Революции) кладбище у церкви Магдалины, куда свозились жертвы гильотины (и где лежал обезглавленный король), было переполнено.

Уже думали о новом кладбище...

И именно в это время один из отцов террора – Марат – был убит ударом кинжала.

В последнее время Марат поднялся необыкновенно. На очередном революционном празднике я видел, как толпа внесла его в Конвент в венке триумфатора. Это был настоящий «друг гильотины». Когда он меня встречал, всегда здоровался с подчеркнутым почтением.

Толпа его обожала, ибо не было его кровожаднее. Он истово ненавидел умеренность, восхвалял массовые казни и провозглашал: «Смерть каждого аристократа приближает наше радостное будущее!» Его имя повторялось народом при всех убийствах и насилиях, затмив имена Дантона и Робеспьера...

В те дни Марат был болен. Омерзительные струпья на его теле воспалились, и он несколько дней отсутствовал в Конвенте. Стараясь унять нестерпимый зуд, он сидел в теплой ванне.

Я был у него – ванна была покрыта грязным сукном, поперек лежала доска, на которой он писал. В ванне он и принимал посетителей.

Шарлотта Корде, девушка из провинции, сообщила ему, что хочет раскрыть заговор врагов Республики. И он ее принял.

Подойдя к ванне, она вонзила нож в грудь Марату.

«17 июня Первого года единой и нераздельной Республики» я получил приговор о казни Шарлотты Корде и, кликнув помощника, отправился в комнату осужденной. Я увидел молодую красавицу. Она сидела за столом и что-то писала. Ее восхитительные светло-каштановые волосы были распущены, она с усмешкой тряхнула ими:

– Я приготовила их для вас, господа!

Мы молча ждали, пока она закончит писать.

Это было ее предсмертное письмо. Она была потомницей Марии Корнель, сестры автора бессмертного «Сиды». И, клянусь, великий Корнель был бы горд предсмертным творением своей родственницы. (Я передал письмо секретарю Трибунала, но перед этим, разумеется, прочел его.)

Шарлотта писала, с каким энтузиазмом разделяла она «великие принципы Революции», как «ненавидела ее крайности». Писала о том, что имя Марата, «который по трупам поверженных жирондистов шел к власти, позорило род человеческий», о том, что он «непре-

менно разжег бы гражданскую войну своими крайностями», а теперь «в любимой ею Республике будет царствовать мир». Она «с радостью отправлялась на небо, надеясь встретить там Брута и других мучеников, пожертвовавших жизнью во имя Свободы»...

Я велел помощнику отрезать ее роскошные волосы, затем подал ей красную рубашку, в которую перед казнью обряжали отцеубийц. Она ее надела.

Нужно было связать ей руки, и я увидел на них кровавые ссадины – следы ударов. Когда ее схватили у ванны Марата, ее били... Она со смехом предложила надеть перчатки.

Обошлись без перчаток. Я умею связывать женские руки и, клянусь, не причинил ей боли.

Наконец мы уселись в позорную телегу. Я приготовил для нее кресло. Она отказалась.

– Вы непредусмотрительны, в телеге трясет.

– Это ведь не очень надолго... – Она улыбнулась и осталась стоять, держась за край телеги. Я поставил перед ней стул, чтобы она могла опираться на него коленом.

Шел дождь, но улицы были заполнены толпой. Оскорбления и грозные выкрики сопровождали ее всю дорогу. Но, осыпаемая проклятьями, она гордо стояла в телеге.

– Народ любил Марата, – сказал я.

– Народ часто любит чудовищ. Но я надеюсь, что эта нынешняя любовь будет недолгой.

Мы были уже на улице Сент-Оноре, совсем недалеко от площади Революции. Здесь в одном из домов жил Робеспьер. Каково же было мое удивление, когда я увидел в раскрытом окне его квартиры трех депутатов Конвента, трех сподвижников – Камилла Демулена, Дантона и самого Робеспьера. Они глазели на приговоренную.

Скоро, скоро повезет и их моя добрая тележка...

А пока они о чем-то говорили и смеялись. И смотрели сверху на Шарлотту. Я и сам смотрел на нее во все глаза – так поразительна была ее красота. Но еще поразительней был ее гордый и невозмутимый вид. Она хранила его все время, пока мы ехали среди рева, проклятий и оскорблений.

Когда мы оказались на площади Революции, я попытался заслонить от нее гильотину. Она засмеялась:

– Нет-нет, я давно хотела ее увидеть. В нашем маленьком городке много о ней говорили, но я никогда ее не видела...

Она бросилась на доску с каким-то иступлением – как в постель к возлюбленному. Я дернул за веревку, и гильотина сделала свое дело.

Потом один из моих помощников поднял ее прекрасную голову и показал ее народу. И... ударил голову по щеке. И щека покраснела.

И толпа – вечно кровожадная толпа – зароптала.

16 сентября – день самый примечательный. До этого дня я казнил только врагов Республики. И вот 16 сентября на эшафот взошел известный революционер, журналист Горза. Он был первым членом Конвента, которого я познакомил с гильотиной. Его преступление состояло в том, что он принадлежал к партии Жиронды. Он был истинным республиканцем, голосовал за смерть короля... Но теперь они уже начали пожирать друг друга. Кстати, этот Горза когда-то голосовал против уравнивания палачей в правах с другими гражданами. Он почему-то невзлюбил меня и однажды даже пытался обвинить в симпатиях к королевской власти.

Увидев меня у эшафота, он крикнул:

– Радуйся, Сансон, насладись своим триумфом! Мы хотели ниспровергнуть монархию, а основали новое царство – твое!

Каждый раз, являясь в Консьержери, я проходил мимо заржавленной двери камеры, в которой сидела одна из прекраснейших женщин Европы – королева французов.

После казни короля о его семье, казалось, забыли. Однако Революцию можно упрекнуть в рассеянности, но в беспамятстве – никогда!

Все сильнее становились самые жестокие. Жестокость и непреклонность стали залогом победы в борьбе за власть, а кровь – постоянной ценой поражения.

В этом соревновании в свирепости революционных партий королева была обречена. В июле у нее отняли сына. 2 августа ей огласили декрет о предании ее суду.

Жандарм, присутствовавший при этом, рассказывал мне: она выслушала декрет, связала в узелок вещи, поручила дочерей принцессе Елизавете и отправилась за чиновником. Она еще не научилась наклонять голову и, входя в камеру Консьержери, расшибла в кровь лоб о низкую притолоку.

Я видел ее в этой камере – она была перегорожена надвое. В одной ее части постоянно находились жандармы, в другой, за ширмами, жила теперь королева французов. Я не любил королеву, но я не мог не пожалеть прекрасную женщину.

11 октября я узнал, что Комитет Общественного Спасения начал допросы «вдовы Капет Марии Антуанетты, именовавшей себя Лотарингско-Австрийской», обвиняемой в заговоре против Франции.

Конечно, я присутствовал на суде. Королеве было тридцать семь лет, но тюрьма и страдания превратили красавицу в старуху. Поседевшие волосы, глубокие морщины на лбу, складки вокруг губ... Но и в черном платье вдовы (бывшая повелительница Франции, дочь императора и жена короля штопала его всю ночь) она была по-прежнему горда и надменна. Она осталась королевой. Ее обвиняли во всем: начиная с того, что она немилосердно транжирила деньги, принадлежащие народу Франции, и устроила голод в стране, и, кончая чудовищным – будто она склоняла к прелюбодеянию собственного сына.

Общественный обвинитель Фукье-Тенвиль монотонно и бесстрастно потребовал приговорить ее к смертной казни. И ее приговорили – под овацию зала.

Заседания шли с девяти утра до десяти вечера. Королеву мучили голод и жажда. Но я помню, как жандарм, подавший ей стакан воды, должен был испуганно оправдываться! Таково было настроение толпы. Под ее радостные крики королева покинула зал, приговоренная к встрече со мной.

А я, потомок презренных палачей, пошел готовиться принять вторую королевскую голову. Гордую голову красавицы королевы.

Впоследствии секретарь Трибунала рассказывал мне, как, придя после приговора в камеру, она бросилась, обессиленная, на кровать и час спала мертвым сном, а проснувшись, попросила письменные принадлежности и написала письмо принцессе Елизавете. Оно было передано Фукье-Тенвилю, и, кажется, он переслал его в Комитет Общественного Спасения. Одно знаю точно: бедная Елизавета никогда его не прочла...

Фукье как раз читал это письмо вслух судье Дюма, когда я пришел за приказом. Оно меня поразило, и я, выйдя, записал для потомства несколько строчек, которые мне удалось запомнить:

«Меня только что приговорили к тому, чтобы я соединилась с Вашим братом. Я надеюсь умереть с таким же присутствием духа, как и он... Ужасно, что Вы пожертвовали всем, чтобы остаться с нами, а я оставляю Вас в таком страшном положении... Я прошу моего сына никогда не забывать последних слов своего отца, которые я столько раз ему повторяла.

Вот эти слова: «Пусть сын мой никогда не будет стараться отомстить за мою смерть». Напоминайте их ему чаще, дорогая... Боже мой, как тяжело расставаться с Вами навсегда! Прощайте, прощайте, прощайте!»

В приказе, который я получил, было сказано, что казнь состоится завтра утром. Я спросил Фукье-Тенвиля:

– Когда выдадут закрытый экипаж?

Он подумал, не ответил и вышел из комнаты. Я понял – отправился совещаться с Робеспьером. Он умел служить начальству... Вернувшись, Фукье объявил:

– Преступница королева ничем не должна отличаться от преступницы обычной, и ее следует везти в обычной позорной телеге.

Вот так!

Все повторилось, как при казни ее несчастного мужа. Целую ночь моя бедная богобоязненная жена молилась. И я не спал и молился. Второй раз проливать царственную кровь!

И во время молитвы в голове моей вдруг кощунственно зазвучали слова казненного Горзы: «Мы основали новое царство – твое»...

Я – их новый король? Смешно, граждане!

В пять утра уже гремели барабаны, призывающие к оружию национальных гвардейцев. Я отправился на площадь Революции – проверил страшный аппарат.

В десять утра я и мой сын (он теперь часто помогал мне на эшафоте) пришли в Консьержери. Тюрьма была окружена вооруженной охраной. Секретарь Революционного Трибунала Напье, который должен был присутствовать при казни, давясь от смеха, рассказал мне, как королева всю ночь подшивала и гладила белое платье – «готовилась к свиданию с матушкой гильотиной».

Королеве, этой законодательнице мод, Робеспьер позволил иметь в тюрьме только два платья – черное и белое. Черное изнашивалось совершенно, но она сохранила белое. Видно, уже думала, что оно понадобится ей для ее последнего выхода...

Камера, где Робеспьер проведет свою последнюю ночь перед гильотиной, будет совсем рядом с камерой королевы.

Я нашел королеву в комнатке, куда перед казнью приводили смертников. Она была в белом платье, и плечи ее были прикрыты белой косынкой. На голове, помню, был чепчик с черными лентами.

В полумраке комнаты она вновь была прекрасна.

Увидев меня и моего сына, она все поняла, встала и сказала:

– Все в порядке, господа, мы можем ехать.

– Нужны некоторые предварительные меры... – сказал я.

Она молча повернула голову, и я увидел: волосы у нее уже были обрезаны. О предусмотрительная королева!

Все так же молча она протянула мне руки. Я ловко и совсем не больно связал их. Вот так человек из презренного рода Сансонов прикоснулся к руке королевы...

Выйдя во двор, она увидела мою телегу и побледнела. Она ожидала увидеть карету. Что ж, в первый и последний раз королеве придется ехать в телеге. В этом революционном экипаже!

Любопытно: в сентябре я казнил того самого Казота, о пророчестве которого так много говорили лет двадцать назад. По пути у нас состоялся разговор, точнее, мы обменялись

несколькими фразами, когда уже въезжали на площадь (все остальное время, пока мы ехали, он не отрывал головы от молитвенника). Но, увидев на площади гильотину, он усмехнулся и сказал:

– Сбылось! Значит, ты и вправду повезешь ее в позорной телеге. Печально!

И пошел на эшафот...

...Я подал ей табурет, чтобы она могла взойти в телегу.

Раскрылись ворота, и телега вывезла королеву Франции к народу Франции – тысячам вопящих проклятия людей.

Ругательства и угрозы сопровождали нас в этом долгом пути. Долгом потому, что лошади едва двигались в людском море.

Всю дорогу она простояла в телеге, спокойно и величаво снося выкрики толпы: «Смерть австрийскому отродью! Смерть коронованной б...!»

Жандармы давали возможность людям из толпы прорываться к телеге, и тогда лошади становились на дыбы, а ненавистники тыкали кулаками в лицо своей вчерашней повелительнице.

Перекрикивая неистовые вопли народа, я сделал резкое замечание охране. Но несмотря на мой тогдашний авторитет, они меня не послушали. Видно, у них было другое распоряжение.

Что ж, королева испила свою чашу до дна – с достоинством, не бледнея.

Мы ехали по улице Сент-Оноре... И я заметил: по мере приближения к площади, она стала напряженно всматриваться в верхние окна домов. Я забеспокоился – не задумала ли она чего? И стал следить за ее взглядом.

Вскоре в одном из окон я увидел аббата – он жестом отпустил ей грехи. Тогда она облегченно вздохнула и даже чуть улыбнулась. Видимо, через кого-то она сумела условиться со священником, и он проводил ее в последний путь.

Более она не поднимала головы. А зря! В окне дома Робеспьера я увидел уже знакомую картину: они опять стояли втроем – Дантон, Камилл Демулен и Робеспьер. И опять оживленно переговаривались...

На площади Революции телега остановилась прямо против главной аллеи Тюильри – и она вздохнула, видно, что-то вспомнила. Я и мой сын поддержали ее, когда она сходила с телеги. Легкой походкой, быстро и величаво, вошла королева на эшафот...

Потом сын рассказал мне: когда он привязывал ее к страшной доске, то услышал ее последние слова: «Прощайте, дети, я иду к Отцу...»

Доску с привязанной королевой положили на место, я дернул за веревку – и загремела гильотина!

Кто-то из помощников торжествующе поднял голову королевы и под восторженные вопли народа пошел с ней вдоль эшафота. Люди готовили платки, чтобы омочить их в царственной крови. Так было и при казни короля – тогда произошла такая давка!

И вдруг (я думаю, от посмертного сокращения мышц) глаза королевы открылись. Голова взглянула на толпу!

И толпа замерла в ужасе. Впервые с тех пор, как поставили гильотину, толпа безмолвствовала...

Тело вдовы Капет, залитое негашеной известью, отправили также на кладбище Мадлен.

Вещи ее мы отдали в богадельню.

Кстати, секретарь Трибунала Напье сделал мне замечание – будто я не сам привел в движение топор, а поручил это сделать помощнику. Это было не так, но я не стал оправдываться, а лишь сурово сказал:

– Я распоряжаюсь на эшафоте. И все, что там происходит, – мое дело! И он замолчал.

Пусть отвыкают приказывать! Палач (спасибо нашей Революции!) теперь уважаемая и самостоятельная фигура. Что бы они делали без палача!

Когда Напье уходил, я позволил себе пошутить:

– Если, не дай Бог, нам придется встретиться на эшафоте, гражданин Напье, поверьте, я непременно учту ваше замечание.

Он побледнел.

А ведь пришлось – и я дернул за веревку над его головой...

После казни королевы последовало множество казней роялистов. Но в то же время революционные партии не забывали и друг про друга.

Два десятка жирондистов, знаменитых революционеров, чьи имена сияли в истории нашей Республики, были арестованы и приговорены к смерти. Тогда Камилл Демулен, Дантон и Робеспьер объединились с «бешеными» революционерами из Парижской Коммуны – Шометтом, Эбером и прочими наследниками Марата. Они считали, что жирондисты слишком умеренны и мешают Революции двигаться вперед.

Жирондисты должны были стать жертвами во имя высших целей Республики. Я не совсем понимал теоретические выкладки, но уже знал твердо: все эти красивые слова скрывают лишь одно – борьбу за власть.

Процесс жирондистов, понятно, шел медленно – все они были знаменитыми ораторами, а обвинения против них были самые вздорные.

Фукье-Тенвиль (человек услужливый, но весьма средних способностей) буквально изнемог в борьбе с ними...

Проблему решили просто – Трибунал обратился в Конвент с предложением: в связи с тем, что «общественное мнение Франции уже осудило этих изменников делу Революции... а между тем Трибунал ничего не может сделать с ними и тратит время на формальности, предписанные законом... Конвент должен освободить Трибунал от соблюдения этих пустых судебных формальностей, присущих старому строю».

И уже вскоре легендарные деятели Революции – Бриссо, Верньо и еще два десятка знаменитых республиканцев – за два десятка минут были отправлены на гильотину их вчерашними сотоварищами.

Я пришел в Консьержери и застал всю компанию осужденных в комнате смертников. Стоя группами, они оживленно беседовали – как беседуют друзья перед разлукой, перед дальней дорогой...

Они без сопротивления (но с ироническими шутками) дали нам совершить их предсмертный туалет – я остриг их, мой помощник связал им руки.

А они шутили...

Ирония действительно была: на пяти телегах я вез их сквозь густую толпу, проклинавшую их, горланившую революционные песни и кричавшую: «Да здравствует Республика!» И они – в телегах – пели те же революционные песни и кричали: «Да здравствует Республика!»

Один из моих помощников, Жако, надел костюм паяца и выделывал разные непристойные выходки против осужденных – на потеху толпе. Человек он был гнусный, и выходки его

были недостойные, но судьба действительно смеялась над несчастными. И дьявол, видать, веселился, как этот паяц.

Когда мы проезжали по улице Сент-Оноре, в окне знакомого дома я увидел знакомую троицу: Дантона, Робеспьера и Демулена. На этот раз они молчали, странно-одинаково скрестив руки на груди.

Многотысячная толпа на площади Революции пела «Марсельезу», пока эти революционеры, также с пением «Марсельезы», по очереди поднимались на эшафот и складывали свои головы в кожаный ящик.

Я распоряжался ходом казни – хлопот было много. Один из помощников держал веревку блока и по моему знаку опускал лезвие гильотины. Доска была залита кровью (все-таки два десятка человек!), и ложиться на нее было отвратительно.

Я приказал помощникам взять по ведру воды и отмывать ее после каждой жертвы... Мне понадобилось сорок минут, чтобы Республика лишилась своих основателей. Трупы укладывались в ящики попарно.

Помню, Верньо был предпоследним. И этот Верньо, еще недавно председательствовавший в Национальном собрании, насмешливо сказал секретарю Трибунала Напье, вызвавшему осужденных на эшафот:

– Революция, как Сатурн, пожирает своих детей! Берегитесь, боги жаждут!

На другой день после казни жирондистов Фукье-Тенвиль грубо спросил меня, почему я избегаю сам дергать за веревку, приводящую в движение лезвие гильотины. (Напье, конечно, донес!)

Я ответил (так же резко), что времена, когда рубили мечом, прошли и теперь самое важное для палача – распоряжаться порядком на эшафоте. При таком обилии жертв это нелегко, поэтому я прошу оставить за мною право все самому решать на *моем* эшафоте!

Террор становится нашим бытом. Теперь что ни день – новая знаменитая жертва.

Вчера я казнил герцога Луи Филиппа Жозефа Орлеанского. Принц крови, всем сердцем принявший Революцию, именовался «Гражданин Эгалите»¹. (Это прозвище, данное ему благодарным народом, и стало его именем. И дворец его называли теперь «Пале-Эгалите».)

Еще недавно он подал голос за смерть короля, еще недавно он сражался вместе с Робеспьером против жирондистов! Но сейчас он уже компрометировал бывших союзников, и они поспешили от него избавиться, обвинив его... в союзнничестве с его главными врагами – жирондистами!

Герцог даже воскликнул после речи Фукье-Тенвиля:

– Все это, право, похоже на шутку!

Но шутка закончилась смертным приговором. Герцог все понял и попросил не затягивать казнь. Его просьбу исполнили – уже днем я пришел с моими ножницами стричь еще одну царственную голову.

Герцог с аппетитом уплетал устрицы и цыпленка – он сохранил присутствие духа.

Вместе с ним осудили еще нескольких особ из бывших аристократов (принадлежность к дворянству теперь почти автоматически равняется смертному приговору). Один из них был граф Ларок. Когда я направился к нему с ножницами, он расхохотался и снял парик с абсолютно лысой головы...

¹ Egalite – равенство (фр.)

Около четырех часов дня наш поезд из нескольких телег выехал из ворот Консьержери. Герцог, естественно, был в моей телеге.

Начальник конвоя по приказу Робеспьера велел остановить телегу у дворца герцога. Там уже поспешили повесить вывеску: «Народная собственность»... Герцог с презрением отвернулся.

Он взошел на эшафот последним – и толпа, еще три года назад носившая его бюст, увенчанный лавровым венком, свистела и неистово проклинала его (впрочем, как и сотоварищи по телеге во время пути на гильотину – все они были верными роялистами).

Мой помощник снял с него фрак. Герцог насмешливо посмотрел на свистящую толпу и спокойно лег на залитую кровью доску.

Когда я показал людям его голову, они стали неистово рукоплескать и петь! (Пройдет несколько десятков лет, и их сыновья возложат корону на голову сына Гражданина Эгалите. – Э.Р.)

Не забываем и дам. Вчера вместе с несколькими роялистами (теперь обычно казним целыми партиями) гильотинировали знаменитую госпожу Ролан – хозяйку салона, где собирались жирондисты. Выслушав смертный приговор, она сказала с улыбкой:

– Благодарю судей за то, что они сочли меня достойной разделить участь замученных ими великих людей...

Статуя Свободы, воздвигнутая на площади Революции, стояла как раз напротив моего эшафота. Поднимаясь по лестнице, госпожа Ролан склонила голову перед статуей и воскликнула:

– Свобода, они забрызгали тебя кровью!

Это звучало бы слишком патетично, если бы не было правдой: я действительно видел на статуе брызги крови...

Смерть госпожа Ролан приняла бесстрашно. Под счастливые аплодисменты толпы я поднял ее голову за остатки роскошных волос.

На следующий день я отправился на площадь Революции с двумя телегами. Но на этот раз (редчайший случай!) со мной не было знаменитостей, которым следовало оказывать честь – предоставлять отдельную телегу. Так что всех девятерых осужденных я отлично разместил в этих двух телегах. Среди них были мать с сыном. И мать всю дорогу доказывала мне, что Республика должна удовлетвориться одной ее головой.

– Ведь они его непременно помилуют, не правда ли? – все спрашивала она меня и обнимала сына.

Ему было двадцать три года...

Казнен известный депутат Конвента жирондист Ноэль. Ступив на эшафот, он поинтересовался:

– Хорошо ли вытерли нож гильотины после казни Дюбарри? Негоже мешать кровь продажной королевской девки с кровью честного республиканца!

Я заверил его, что нож чистый.

Сегодня казнены пятеро публичных женщин, и множество других «веселых особ» ждут своего часа в Консьержери. Таково новое предписание Генерального прокурора Парижской Коммуны Шометта. Теперь считается, что, портя нравы, они помогают врагам Республики. Решено очистить наши нравы при помощи гильотины.

Недавно в Конвенте я встретил одного депутата-журналиста (кажется, его звали Дюфруа). Увидев меня, он обратился к друзьям, шедшим рядом с ним:

– Вот самый полезный деятель Республики! Как он бреет аристократов своим славным ножом! Тебе приходится много трудиться, друг Сансон! Но ничего: если у тебя много работы – дела Республики идут на лад!

Всего через два месяца после этой встречи мне пришлось потрудиться и над его головой.

Все чаще казним генералов. В Конвенте не хотят понять, что и революционные солдаты могут терпеть поражения, поэтому наши неудачи решили объяснять изменой военачальников.

Сегодня я казнил одного из самых храбрых наших генералов – Бирона. Когда я пришел в Консьержери, я застал его кушающим устрицы.

– Позволишь ли доесть эту последнюю дюжину? – спросил он меня.

– Не торопитесь, генерал.

Я подождал, пока он доел, и тогда сказал:

– К вашим услугам, генерал. И вынул ножницы.

– О нет, братец, к сожалению, сегодня – я к твоим услугам! – ответил он. И расхохотался.

Забавно: в прежние времена одно мое появление в тюрьме вызывало ужас. Теперь оно все чаще вызывает улыбку, даже шутки! Смерть стала слишком *обычной*... Никогда на моей памяти равнодушие к жизни не доходило до такого: осужденные едят, пьют, сочиняют куплеты – и все это накануне смерти!

Сразу после Бирона я казнил некоего Луи Робена, который приклеил к стене церкви следующую прокламацию: «Предшествующее десятилетие ознаменовалось смертью Людовика, прозванного «тираном» нашими революционерами. Наступающее десятилетие породит сотни будущих тиранов. Долой революционные клубы! Истинный народ никогда не откажется от веры в Бога!»

В телеге, где ехали восемь осужденных, он мне сказал:

– Бог, позволивший тебе казнить короля, возложил на тебя обязанность казнить и всех похитителей его власти. И только потом Он покарает и тебя самого...

Я это запомнил.

Казни каждый день. Много казней.

Сегодня я обезглавил графа де Лэбль, а вместе с ним Агнессу Розалию Ларошфуко и еще двенадцать знатнейших «бывших», обвиненных в заговоре...

На следующем заседании Трибунала было вынесено восемнадцать приговоров. Я вез осужденных под проливным дождем, набив их в четыре телеги. Больше телег не дали. Толпа, которую величают народом, осталась довольна количеством жертв – не зря она мокла под проливным дождем!

Были арестованы «бешеные» – неистовые революционеры из городской Коммуны. За то, что они непримиримые и оттого хотели увести Революцию с ее истинного пути, который известен одному Робеспьеру.

Понадобилось множество телег, когда большая компания «бешеных» отправилась на гильотину.

Фукье-Тенвиль, не моргнув глазом, обвинил своих бывших сподвижников и друзей – прокурора Шометта, его заместителя Эбера и прочих революционеров – в измене и заговоре.

Во время заседания Трибунала один из самых яростных, помешанный на крови Анахарсис Клоотц сказал:

– Будет очень странно, если меня, которого сожгли бы в Риме, повесили бы в Лондоне и колесовали бы в Вене – гильотинируют в республиканском Париже!

Но все случилось именно так. При сем его вчерашний почитатель Фукье-Тенвиль обвинил Клоотца, этого ненавистника короля, в тайных стремлениях... к восстановлению королевской власти!

Вместе с Клоотцем сел в мою телегу и другой «бешеный» – Эбер, помощник и друг прокурора Шометта. Еще недавно на процессе королевы он произнес наглое лжесвидетельство – это он придумал обвинить бедную королеву в разврате с ее собственным сыном.

По дороге на гильотину толпа, еще вчера им рукоплескавшая, щедро осыпала их проклятьями.

Эбер на гильотине (как и положено трусливым злодеям) совсем ослабел, был малодушен и все молил: «Подождите, граждане!»

И тогда Клоотц с криком: «Да здравствует Всемирная Республика! Да здравствует братство народов!» – бросился на кровавую доску. Он показался мне искренним безумцем, которого следовало отдать врачам, а не гильотине.

Эбера (он был без чувств от страха) мы привязали к доске, и старушка гильотина сделала свое дело.

И толпа, радостно наблюдавшая казнь неистовых республиканцев, неистово кричала: – Да здравствует Республика!

Но самое невероятное произошло 11 жерминаля. Утром Дантон, Камилл Демулен и их товарищи были арестованы на своих квартирах – и народ безмолвствовал!

Говорят, Дантон, отважившийся бороться с Робеспьером, был уверен: его не посмеют тронуть!

Робеспьер посмел.

Он верит в себя. Марат стал святым после смерти – Робеспьер сумел сделать себя святым при жизни. Жена моего помощника Деморе повесила его портрет вместо иконы в изголовье своей постели. И таких немало. Полоумная старуха, некая Екатерина Тео, назвала себя «Богородицей», а Робеспьера – своим сыном!

Впрочем, еще совсем недавно республиканцы так же молились на Дантона...

Дантон сдался жандармам без сопротивления, Демулен же звал из окон народ на помощь. Но никто не пришел. Люди уже привыкли проклинать тех, кого вчера славили. И отвыкли удивляться.

Они не удивляются, что все вчерашние кумиры Республики – Бриссо, Мирабо, Лафайет, Верньо – объявлены предателями интересов народа. Все эти люди, оказывается, сделали Революцию только для того, чтобы ее погубить! Но и те, кто изобличил их в предательстве, – Шометт, Дантон и прочие – тоже оказались предателями! Предают справа и слева! Предают умеренные и непримиримые!

Теперь остался один Робеспьер. Один – из всей троицы, которую я привык видеть у окна на улице Сент-Оноре.

Я читал сегодня письмо, которое несчастный Демулен отправил жене (и которое, естественно, ей не передали):

«Я залился слезами, я стал громко рыдать в глубине темницы... Пусть так жестоко поступали бы со мной враги... но мои товарищи... но Робеспьер... и, наконец, сама Республика, после всего, что я для нее сделал!.. Руки мои обнимают тебя, и голова моя, отделенная от туловища, покоится на твоей груди... я умираю».

Я присутствовал на заседании Революционного Трибунала.

Фукье-Тенвиль в длинной и монотонной (как обычно) речи потребовал их смерти. И Трибунал, конечно, их приговорил – и Демулена, и Дантона, и их сторонников.

Дантон сказал, усмехаясь:

– Я основал этот Революционный Трибунал и прошу за это прощения у Бога и людей.

Когда я пришел в Консьержери, жандарм хлопнул меня по плечу и сказал:

– Сегодня у тебя крупная пожива – много осужденных! Начальник караула пояснил мне:

– Очень вероятно, что по пути на гильотину осужденным удастся возмутить народ. Тогда тебе следует пустить лошадей рысью. Жандармам уже дан приказ – стрелять в случае беспорядков. На площади все должно быть исполнено тобой как можно быстрее. Надо спасти Республику от этих злодеев!

Начали поодиночке приводить «злодеев» (вчерашних кумиров Республики), читать им приговор. После чего я готовил их к смерти.

Когда привели Дантона, он не захотел слушать тюремщиков. Он прорычал:

– Знать не хочу вашего приговора! Нас рассудят потомки – и они поместят нас в Пантеон!

И равнодушно обратился ко мне:

– Делай свое дело, Сансон!

Я сам подстриг его перед смертью. Никогда не забыть мне его волосы – жесткие и курчавые, как щетина диковинного зверя... При мне он сказал своим друзьям:

– Это начало конца... Будут казнить народных представителей – кучами. Франция задохнется в потоках крови...

Будто раньше не казнили! И кучами! И с его благословения! Помолчав, он добавил:

– Мы сделали свое дело – можно идти спать.

Когда привели Демулена, он сначала плакал и говорил о жене, потом бросился на моих помощников и стал их бить (в эти предсмертные минуты человек обычно становится необыкновенно силен). Четверо держали его, пока я резал волосы. А он все сражался с ними!

И тогда Дантон повелительно сказал ему:

– Оставь этих людей. Они – лишь служители и исполняют свой долг. Исполни свой долг и ты.

Наконец все было готово. Рассаживались по телегам. Конвой был столь же многочисленный, как и у королевы. Я сел на облучок своей телеги. За мной в первом ряду стояли Дантон и Демулен – так что я слышал их разговоры.

Когда двинулись в путь, Дантон сказал Камиллу:

– Это дурачье сейчас будет кричать: «Да здравствует Республика!» А сегодня у этой Республики уже не будет головы!

Когда мы выехали на бульвар, Демулен стал кричать народу:

– Разве вы не узнаете меня?! – Он старался высунуться из повозки. – Перед моим голосом пала Бастилия! С вами говорю я – первый проповедник Свободы! Ее статуя сейчас обогрится кровью! Ко мне, мой народ! Не допусти, чтобы умертвили твоих защитников!

Ему отвечали хохотом и ругательствами. Он пришел в ожесточение, и я боялся, что он выбросится из телеги. Дантон сказал ему:

– Замолчи! Неужели ты надеешься растрогать эту покорную сволочь?!

Проезжая мимо кофейной, мы увидели живописца Давида – он рисовал всю нашу процессию.

– И ты здесь, лакей! – прорычал Дантон. – Пойди и покажи свой рисунок своему господину! Пусть он увидит, как умирают воины Свободы!

Мы проезжали мимо дома Робеспьера. Окно, где они так часто стояли вместе, было закрыто. И даже ставни были закрыты. И тогда раздался громовой голос Дантона:

– Робеспьер, ты напрасно прячешься там, за ставнями! Знай: скоро и ты пойдешь за мной! Скоро, очень скоро придет твой черед! И тень Дантона тогда возрадуется!

Все это он сопровождал отборной руганью.

На эшафоте они держались молодцами. Демулен попросил меня передать его локон матери его жены. Потом он взглянул на небо, произнес несколько раз имя жены – и нож опустился!

Его еще не успели очистить от крови предыдущей жертвы, когда Дантон поднялся на эшафот. Я попросил его отвернуться, пока помощники смывают кровь, но он сказал с презрением:

– Велика важность – кровь на твоей машинке... Не забудь показать мою голову народу! Такие головы увидишь не каждый день!

На обратном пути я думал: «Как забавно! Скольких людей перевезла моя тележка! В ней уместилась, пожалуй, вся, без исключения, история Революции. Остался лишь – *он*. Один!»

Робеспьер.

Кресло для обвиняемого давно вынесено из Трибунала. Вместо него установлен огромный помост, где обвиняемых размещают партиями по несколько десятков человек. Как правило, им ставят в вину участие в заговорах. Фукье-Тенвиль научился «объединять» в этих делах людей, зачастую видящих друг друга в первый раз на заседании Трибунала.

Полуграмотные присяжные, освобожденные решением Конвента от всяких норм судопроизводства, теперь в одно мгновение определяли виновность людей. Им было приказано руководствоваться только патриотическим чувством.

Бесконечная череда обвиняемых... Обвинитель, присяжные, судьи, измученные постоянным недосыпанием, работают не покладая рук, подстегиваемые яростью ненавистников, толпящихся на галереях, в этой ужасной летней духоте, сводящей с ума! Они взбадривают себя алкоголем и патриотическими речами, стараясь превозмочь кровавую дремоту!

Я помню раннее утро... Заседание Трибунала... По обвинению в заговоре вместе с целой группой несчастных осудили бедную Люсиль Демулен. И уже в пять часов пополудни я окончил ее страдания на эшафоте...

В тюрьме ее считали помешанной, ибо ее преследовала одна мысль: побыстрее соединиться *там* с Камиллом. После них осталась крохотная дочь.

Приговоры идут потоком – 29 жерминаля мы казнили семнадцать человек.

1 флореаля Трибунал осудил во имя Революции тех, кто раньше судил во имя Революции. И я повез на гильотину тех самых судей, чьи декреты исполнял столь долгое время. Двадцать пять членов парижского и провинциальных судов пошли на плаху с президентами во главе!

Утром 19 флореаля мы казнили двадцать восемь человек. Один из них, некто Лавуазье, ученый, попросил отсрочку от казни, чтобы довершить, как он сказал, «открытие, важное для нации». Секретарь Трибунала ответил ему: «Народ не нуждается в твоей науке, и ему нет никакого дела до твоих открытий».

Он был прав – толпа восторженно кричала, когда я показал ей голову ученого.

21 флореаля я присутствовал на заседании, где была осуждена Елизавета – набожная сестра последнего короля. Она выслушала приговор с ласковой улыбкой на устах, обратив глаза к небу, а Фукье-Тенвиль честил ее в самых бранных выражениях! Трибунал под председательством судьи Дюма, конечно, приговорил ее к смерти, как опасную заговорщицу.

В сообщники ей были приписаны еще двадцать три аристократа. Всех их я рассадил по телегам – уже на следующее утро...

Впрочем, скоро и председатель Трибунала Дюма сядет в мою телегу.

Елизавету велели гильотинировать последней. Когда пришла ее очередь подняться на эшафот, она слегка содрогнулась, но пошла сама...

Она приблизилась к доске. Я хотел снять платок, покрывавший ее плечи, но она воскликнула с непередаваемой, чудной стыдливостью:

– О, ради Бога!..

Тюрьмы переполнены. Но уже придумали, как их очистить для новых заключенных. В Консьержери и в прочие тюрьмы внедрены агенты. Они предлагают несчастным, обреченным на смерть, организовывать заговоры – будто бы для освобождения. После чего «заговорщиков» немедленно отправляют на гильотину.

18 прериаля – двадцать один осужденный за заговоры! И так – каждый день!

С моими помощниками что-то происходит. Нет ни одного, кто оставался бы спокойным после казней. Лишь выпив изрядную порцию водки, они приходят в себя.

20 прериаля. Мой помощник Луве повесился.

Сегодня отвез на гильотину тридцать два человека по обвинению в заговоре. По дороге я уже не слушал их разговоров, все думал, все вспоминал великие лозунги Революции – «Свобода! Равенство! Братство! Или Смерть!».

Свобода, которой, увы, давно нет; Равенство, которое видится теперь лишь во сне; Братство, которое все чаще звучит насмешкой...

Из всех лозунгов Республики не подвергается сомнению только один – Смерть!

Погибшие мечты! Хотя одна мечта все-таки стала реальностью!

С раннего детства я был убежден в правах, которые дает мне мое звание, в своем значении для общества. Я верил, что мне доверена трудная и грозная обязанность, и смотрел на пренебрежение и отвращение к своей работе как на гнусный предраассудок.

Я мечтал об иных временах! И вот они пришли. Теперь мы воистину окружены почетом, и самые знаменитые депутаты считают за честь дружить с палачом! Дело уже идет к тому, чтобы не только запретить называть нас «палачами», но поискать нам славное прозвище, достойное той роли, которую мы играем в жизни Республики! Предлагают даже назвать нас «Мстителями Народа» и одеть в подобающие костюмы. Живописец Давид на днях показал мне рисунок нашего одеяния, напоминающего облачения римских ликторов.

Можно сказать, я вкусил славы! Проезжая по улицам на своем страшном экипаже, я слышу только одобрительные клики народа! И страшные в своей ярости фанатичные рево-

люционерки, эти фурии гильотины, устраивают мне овации и считают за честь отдаваться моим помощникам!

25 прериаля. Из-за жалоб жителей улицы Сент-Оноре, которые не могут более сносить ежедневного проезда множества наших телег, решено перенести гильотину на площадь бывшей Бастилии. Однако народ (здесь живут трудолюбивые и бедные люди) вдруг встретил нас свистом и бранью. Впервые на площади собралось ничтожно мало людей – смотреть казнь! Многочисленные агенты, которые теперь повсюду, были очень сконфужены. И уже ночью мне велели переставить эшафот на прежнее место.

Неужели толпа наконец устала?! А как устал я! Как смертельно устал я!

27 прериаля. Редчайший день отдыха. Мы гуляли с племянницами за городом и столкнулись с ним. Его сопровождала огромная собака по кличке Браунт.

Дети никак не могли сорвать дикие розы – мешали шипы. И он поспешил к ним на помощь. Он был одет в голубой фрак, желтые брюки и белый жилет. Волосы его были напудрены, а шляпу он держал на конце маленькой трости.

Он сорвал розы, отдал их детям и ласково беседовал с ними, пока не заметил меня...

Я никогда не видел, чтобы так менялось человеческое лицо! Он будто наступил на змею! Его лоб покрылся испариной, улыбка исчезла. Он проговорил отрывистым голосом:

– Вы...

И замолчал. В глазах у него был ужас!

Он поспешно удалился, не глядя на меня. А я все думал, где я уже видел такие же глаза?

Я вспомнил – король! Наше первое свидание!

Да, это было не отвращение к топору, который верно служил тебе, Робеспьер! Это был твой страх. Твой ужас!

Фукье-Тенвиль стал подвержен галлюцинациям. Он рассказал одному из членов Трибунала, что Сена в лучах солнца кажется ему кровавой. Сейчас он готовит очередной «заговор» среди заключенных. На гильотину должны отправиться сто пятьдесят четыре человека.

29 прериаля. У меня был страшный день: гильотина пожрала сто пятьдесят четыре человека! Силы мои истощились, я едва не упал в обморок.. Мне показали карикатуру, которую враги Республики распространяли в городе: на эшафоте среди поля, усеянного бесчисленными обезглавленными трупами, я гильотинирую... самого себя!

Если это поможет остановить кровавое безумие, я готов хоть сейчас отправиться к Господу со своей головой в руках.

Меня мучают видения. Вечером, садясь за стол, я убеждал жену, что на нашей скатерти – кровавые пятна!

Очередной организованный шпиками «заговор» доставил на мой эшафот двадцать четыре жертвы. Среди них достойны упоминания: семидесятилетний барон Трен, герцог Креки, маркиз Монталамбер и еще один молодой человек, про которого мне сказали, что он поэт. Его звали, кажется, Шенье...

9 мессидора я прекратил записи в своем Журнале. После очередной массовой казни (это было 8 мессидора) я слег в постель. Болезнь заставила меня передать должность сыну...

Сколько дней прошло... Я снова вернулся к перу. Я ищу уединения, но оно меня пугает. Я словно жду кого-то... при всяком шуме меня охватывает необъяснимый страх. Я болен страхом...

Должность исполняет мой сын. Несчастный мой мальчик! Ежедневное число жертв теперь никогда не опускается ниже тридцати, а в страшные дни достигает шестидесяти!

Все славные фамилии прежней монархии торопливо занимают свои места на гильотине, но простого народа – солдат, земледельцев, бедняков – несравненно больше!

9—10 термидора. Сын рассказал, что председательствующий в Трибунале судья Дюма готовился отправить в мою телегу очередную партию осужденных, но вошли посланцы Конвента и объявили о его аресте. И уже на следующий день Дюма сам сидел в моей телеге...

Робеспьер, несчастный, уничтоженный, старался перекричать вопли восставшего против него Конвента, но издавал только нечленораздельные звуки.

И кто-то бросил ему:

– Это кровь Дантона душит тебя!

Он успел прокричать сквозь рев бесновавшихся депутатов:

– Разбойники, вы торжествуете!

Разбойники... Он был прав: всех честных республиканцев он давно уже отправил под мой топор.

А потом мой сын повез его в моей телеге мимо его дома на Сент-Оноре, и он смог увидеть все, что видели его жертвы, – набережные, заполненные народом, который привычно кричал: «Да здравствует Республика!» И проклинал его!

И свои окна он тоже увидел – но снизу, из телеги!

Круг замкнулся. Теперь я смогу отдохнуть. Теперь действительно вся история Революции уместилась в моей грязной позорной телеге.

Но страх... невыносимый, непередаваемый страх не покидает меня! Господи, спаси!»

Действие второе Бомарше Игры писателей

Из архива Шатобриана

Несколько пунктов из «Манифеста Postrisma»:

1. Игра в игру есть жизнь...

3. Презрение к настоящему есть настоящее...

5. Самый маленький остров – наш материк...

.....
9 (последний). Презрение к лающим.

Уроки охоты на льва в Африке.

Барабаны охотников сообщают им, где сейчас лев. И они собираются – множество маленьких местных собачек...

Стая маленьких уродцев берет след. Они не нападают – они лают. И лев не выдерживает – уходит от нестерпимого чая, похожего на вой.

Как и положено льву, он уходит на вершину горы.

Но собачки стаей без числа бегут за ним. Они лают, они по-прежнему только лают. И не дойдя до вершины, лев падает замертво... От чего он погибает? От их уродства. От мерзкого вида маленькой пасти. От несовершенства озлобленной твари. От визгливого, позорящего, незатишающего лая...

Он погибает от несвободы. Несвободы от лающих.

(Пункты 2, 4, 6, 7, 8 – см. «Манифест».)

Франсуа Рене Шатобриан пишет книгу

4 октября 1814 года

Золотая осень в Волчьей долине.

Все было, как всегда. В день его патрона, Святого Франциска, в большой столовой собрались самые близкие друзья Шатобриана. Рене заставил Селесту пригласить мадемуазель Н. Устроили маленький маскарад – все сидевшие за столом получали прозвища. И, как всегда, он назвался Котом, жена Селеста – Кошкой («Ша» тобрианы²). А когда решали, как назвать мадемуазель, Селеста, с усмешкой глядя ему в глаза, предложила назвать ее Мышкой.

Селеста не всегда умела быть женой Поэта. Иногда она становилась просто женой, позволяющей себе забыть свое бремя.

Он шел с мадемуазель по аллее. Все они, эти его влюбленности без числа, обязательно должны были походить на «Божественную» – на Жюльетту. Гений ищет повторений Прекрасного. Вечная Жюльетта, никогда не уходившая из его жизни...

Он засмеялся. Мадемуазель, конечно, похожа на Жюльетту: вздернутый (подмигивающий солнцу) носик; девочка-женщина... Как и Жюльетта, мадемуазель носила римскую прическу «а-ля Тит»: волосы взбиты в локоны и перехвачены лентой. И тот же выходявший из моды пеплос античных богинь – платье с поясом выше талии и глубоким вырезом, открывавшим нежные, слабые плечи и маленькие налитые груди. Как и Жюльетта, мадемуазель грациозно и ловко при ходьбе придерживала платье рукой, и ее ножка обнажалась по щиколотку.

Ножка мадемуазель, ножка Жюльетты... (Описать. Целомудренно.)

В новой его книге будет целая глава о Жюльетте. Как рассказать их историю? Как не стать смешным, попав в длинный список знаменитостей Европы, пребывавших у ног мадам Рекамье? (Жюльетты! Для него – Жюльетты!)

Люсьен Бонапарт, и сам Наполеон, и герцог Веллингтон, и принц Август Прусский – вот список завоевателей, плененных маленькой Жюльеттой. Как охранить ее честь, но и написать правду о Венере, отринувшей и Марса и Юпитера – ради Поэта?

Тот день... Она – в белой греческой тунике. Луч солнца сквозь деревья на обнаженных руках. Солнце и мрамор. Ослепительно белая туника на нежно-голубой софе... И все! И более он ничего не напишет... Печаль (прошлое, прошлое!) и красота сцены.

Он увлекся и успел прослезиться (легко возбуждался).

Он вспомнил об идущей рядом мадемуазель, ибо вдруг почувствовал... Да, ему показалось, что в наступавшем сумраке за ними кто-то идет.

Он резко обернулся. Никого не было.

Приятное возвращение в реальность... тепло руки очаровательной мадемуазель.

Как забавно было бы соединить сцены... ту сцену с сегодняшней... с мадемуазель...

Но это можно только в дневнике.

Впрочем, даже в дневнике ему нельзя... Он – Шатобриан.

Мадемуазель шла молча, опираясь на его руку. Она не проронила ни слова, она знала: Шатобриан думает!

Они подходили к башне. Он рассказывал ей то, что прежде рассказывал Жюльетте, а теперь обычно рассказывает всем им. О борьбе Поэта с владыкой мира. Как Поэт заклеил

² Chat – кот (фр.).

императора именем Нерона, как был за это выслан из Парижа и как Господь не оставил его – он сумел купить Волчью долину. Так звали кусок земли, где стоял теперь маленький дом Поэта. А в те годы край был дик и пуст. Волки были хозяевами выжженного солнцем пустынного пространства, так напоминавшего пустыню в Аризоне, где в молодости (увы, в далекой молодости!) он сражался с англичанами.

И вот теперь император пал...

И опять, забыв о мадемуазель, он вернулся к своему сочинению.

Король въехал в Париж. С ужасом Поэт наблюдал, как престарелый монарх, кряхтя, вылез из кареты. Подагрические, опухшие слоновьи ноги короля (описать!)...

Надвинув на глаза медвежьи шапки, наполеоновские гвардейцы старались не глядеть на жалкую старость потомка Людовика Святого.

Погруженный в свои мысли, он грозно сказал мадемуазель:

– И вот опять грозное небо над смутной Францией!

(Кстати, не забыть описать в книге, как этим летом по приказу короля сбрасывали Вандомскую колонну Бонапарта. Ожидали, что придут тысячи – низвергать статую кумира, взявшего со страны величайший налог кровью: два миллиона французов лежат в снегах Московии, в пустынях Африки, в полях Европы. Но пришло всего несколько человек, и Поэт был среди них... Впрочем, про Поэта следует опустить. Можно быть несчастным, но нельзя – смешным.)

– И вот после того как он залил кровью всю Европу, толпа захотела прежнего ярма, – сказал он яростно.

Мадемуазель испуганно смотрела на возбужденного Поэта. В борьбе с Бонапартом он больно сжимал ее руку. Но она терпела. Она плохо разбиралась в политике и очень боялась показаться глупой.

– Что-то будет, – уже печально и тихо продолжал размышлять он вслух. – Наполеон рядом, совсем рядом.

(Здесь следует вставить в книгу письмо Фуше, которое ему показали вчера. Письмо к «Агамемнону всех народов» – так льстивый негодяй именуется Александра Первого. Нет, наш великий предатель неспроста доносит русскому царю: «Почитаю долгом сообщить, что спокойствие народов не может быть гарантировано, пока Бонапарт находится на острове Эльба». Он уже знает что-то! И он прав! Тысячу раз прав!)

– Но глупцы в Париже, – вновь грозно обратился он к мадемуазель, – пребывают в спокойствии. Они уверены, что с четырьмя сотнями солдат, оставленных Бонапарту, невозможно отвоевать империю. Но они забыли: этот человек не знает слова «невозможно». А рядом с Эльбой – Италия, воздух его прежней славы, пороховая гарь его побед (записать!)... К нему приехала белокурая графиня Валуевская с его сыном. Но белую лебедь поселили на тайной вилле и потом быстро услали. Еще бы! Он наверняка ждет к себе императрицу с наследником. Ему нужен символ прежнего величия. Ибо клянусь, он уже задумал... И Фуше прав. Проклятье!

– Говорят, она его много моложе. Но он ее любит, – тихо сказала мадемуазель.

Он оценил призыв. И, оставив книгу, окончательно вернулся к ней. Погладил ее крохотную руку...

Мадемуазель восторженно смотрела – она была влюблена в него с детства. Как и они все, она росла окруженная рассказами о нем, выросла в сетях его славы. Так что пора вытаскивать невод...

И голос его стал нежным. Он вернулся к излюбленным рассказам: как собрал здесь, в доме Изгнанника-Поэта, все, что так любил, – свои путешествия. Ливанский кедр (посещение Палестины), пристроенный к дому греческий портик, который держали две мраморные

кариатиды (воспоминание о Парфеноне) с одинаковыми лицами все той же Жюльетты... Двойная лестница внутри дома, повторявшая лестницу в родовом замке Шатобрианов, где прошло его детство, где на скалистом островке он хотел бы лежать после смерти...

Глаза мадемуазель (как у всех у них) наполнились слезами. Впрочем, и сам он был растроган.

Сумрак опустился на аллею. Они подходили к башне – их плечи касались. Пришло время рассказа о его деревьях.

Он указал на маленькие деревца вдоль дороги, жалкие в печальных сумерках:

– Они – мои дети. Я знаю каждое из них, уважаю их характер. И у всех есть имена. В жару я укрываю их, как мать, своей тенью. Когда я состарюсь, они станут большими, и уже они укроют меня своей тенью, они станут заботиться обо мне.

И опять наполнились слезами ее глаза.

И вновь это наваждение – он почувствовал, что кто-то за ними идет. Он резко обернулся: аллея была пуста.

Они пришли к башне – здесь он работал. В раскрытую дверь был виден его стол, глядевший в зелень.

Пора рассказать ей эту романтическую историю – историю его маленькой башни.

– Один из прежних владельцев Волчьей долины служил в национальной гвардии. И когда свора рыбных торговков, обезумевшая толпа черни, ворвалась в королевский дворец, когда во дворе Тюильри уже валялись трупы швейцарских гвардейцев и несчастный король покорно напялил фригийский колпак, так похожий на шутовской, сей Андре Аклок, кажется, именно так его звали... (он каждый раз рассказывал эту историю чуть-чуть иначе и давно забыл, что же было в скучной действительности, забыл и имя героя) – бесстрашно защищал королеву от разъяренной черни. И Антуанетта обещала: когда смута закончится, она придет навестить преданного героя.

Андре построил эту башню, ожидая ее. Тщетно ожидая...

Они стояли у открытой двери башни. Позади стола уходила вверх винтовая лестница, звавшая на второй этаж. Там стояла историческая софа, где Поэт дремал, когда на него напал «сон сочинительства». Стыдная сонливость всегда преследовала его в первые часы, когда он начинал сочинять.

На этой же софе Жюльетта... Но молчание! «Тени легли на землю, и в тишине далеко, где-то там, на верхней дороге, слышался звук телеги... и бутылка вина на столе блестела в лучах заходящего солнца. Земля расставалась с жарким днем – увы, с одним из последних жарких, уже осенних дней. Печаль прощания... Перистое облако, как летящий ангел...»

Он легонько тронул пальцами ее щеку. И мадемуазель шепотом сказала ему то, чего он так ждал:

– Пощадите меня.

Он чуть приблизил лицо, и мадемуазель, поднявшись на цыпочки, торопливо, неумело, по-детски поцеловала его. И пока длился поцелуй (о свежесть, о детский запах ее губ!), он привычно колебался, решаясь, что делать после. Все было как всегда: уже решившись подняться с ней на второй этаж, он, оторвавшись от ее слабых, покорных губ... решил все-таки не подниматься!

Он нежно прикоснулся к ее лицу (ветерок, тронувший лист, дуновение... и пробудившаяся Афродита... нега, томление пробуждения...).

Он понял, что напишет:

«Я сказал ей: «Я могу вас любить, но никогда не смогу быть *вашим*, ибо лист, падающий с дерева, тростник, колеблемый ветром, или облако... вон то облако, сонно плывущее над домом, заставят меня забыть о вас. Простите старого Поэта».

И он сказал ей это. Она заплакала. И поцеловала его руку.

Они подошли к дому. Как всегда, он уже жалел о случившемся.

Мадемуазель уезжала последней. Он провожал ее.

Красные глаза девочки... Усмешка Селесты...

Но он («как обычно», – напишет потом Селеста в мемуарах) предпочел не заметить беспощадной улыбки жены.

Он смотрел, как крохотная туфелька красотки ступила на лесенку фиакра, и поймал последний взгляд мадемуазель. Влюбленный взгляд...

Экипаж, исчезающий за поворотом аллеи... или лучше так: «освободивший для взора всю таинственную длину аллеи: печаль осеннего вечера (как рано темнеет!), шорохи падающей листвы, шум фонтана – шепот воды, бегущей среди мрамора».

И вновь ощущение внезапного непонятного страха. Как только фиакр скрылся за поворотом, он позвал слугу и приказал осмотреть парк.

Он вошел в башню.

Тишина. Деревья. Ветер. Качаются высокие кроны. Экономная природа: кроны деревьев – те же вознесенные к небу корни, только нежные, ибо живут в небе. И крепость окаменевших корней – там, в земле... Пахло костром. Слуги жгли опавшие листья.

Запах смерти.

Он назовет книгу – «Записки из могилы». Вчерашние события... Листья опали и уже сожжены. Книгу должно напечатать после его смерти.

Смерть... Как сладка жалость к самому себе! После смерти он продолжит говорить с миром: «О мой читатель, я не слышу тебя, я в уже могиле, которую ты попираешь ногами».

«Замогильные записки» о его жизни. О времени.

Как положено гению, он пришел в мир Накануне.

Как любимый им Цицерон, он наблюдал Вселенскую Катастрофу.

Его жизнь была достойна его дара.

Итак, начало. Тот день (увы, такой далекий!), когда он, молодой потомок древнего рода, был представлен ко двору.

Толстый Людовик Шестнадцатый... Этот верный муж странно заканчивал череду любвеобильных Людовиков. Гордый нос Бурбонов украшал тогда потомство многих фрейлин. «Бог простит, свет забудет, но нос останется» – он застал эту шутку, модную тогда в Версале. Бедный Шестнадцатый Людовик – добродушный толстяк, жертва за грехи своих предков, тщетно старавшийся задобрить нацию, выросшую из пеленок. И Антуанетта – маленькая, грациозная, воплощение Галантного века. «Королева рококо» оказалась искрой, которая запалила пороховую бочку.

Залы Версаля, выставка могущества и роскоши... В зеркалах – игра свечей, горящих в гигантских канделябрах: отражаются, дwoятся кружева, воланы, ленты, мерцают бриллиантовые пуговицы, фалды расшитых камзолов... Обнаженные плечи... Поток драгоценностей слепит в зеркальной стене. (Бал призраков. Описать!)

Режим казался вечным. И никогда не был так близок к гибели.

Ангел уже вострубил, и скоро рухнет величайший трон в Европе... Восемь веков монархии – великого опекуна нации – заканчивались. Нация выросла. Она решила жить без пастырей – королей.

Революция... И плоть человеческая станет прозрачной в огне и крови. И в безвестную яму будет брошена жертва грядущему, прекраснейшая плоть Галантного века – королева. Варварский обряд похорон жертв гильотины: между раздвинутых ног Марии Антуанетты положат ее голову – самую красивую голову Европы.

Его первый бал... Кузина, обучившая его любви... Ее платье из атласа (описать: светлые, будто ослабевшие, пастельные тона).

И свершилось: голубой плащ кузины, столь величественно ниспадавший с ее плеч, сброшен у кровати; розовая сумочка «помпадур», перчатки и муфта полетели на кресла...

Она стоит в обруче, еще мгновение назад поддерживавшем широкую, как корабль (нужно другое сравнение), юбку. Бесстыдно белеет нижняя рубашка, украшенная серебром и кружевом. Ее слабая ножка... мягкие туфли из шелка с драгоценными камнями...

Он растерялся. Ее смех: «Ну же, помогите несчастной избавиться от последнего оплота добродетели».

И обруч падает. Бьют часы. Таинственная ночь, когда Поэт потерял невинность...

Кузину обезглавят. И голову, которую он целовал, уложат между ног в шелковых туфельках...

Революция... Ее все ждали, все о ней говорили. Сколько просвещенных умов, сколько потомков древнейших родов считали хорошим тоном издеваться над слабым королем, любить Вольтера и считать Бога выдумкой для дураков! Но несмотря на все вольности в разговорах, никто не думал изменять присяге. О революции болтали с удовольствием, ибо всерьез не верили в нее.

И как все мгновенно свершилось! Еще утром была королевская власть, но днем – взята Бастилия, и прежней власти нет. Но власть еще этого не знает. Она не понимает: не просто разрушена главная тюрьма, но уже пошли часы революции. Волшебные часы, где минута равна веку...

Лавина событий, ужасающая *быстрота* – именно так живет революция. А гибнущая власть продолжает жить в своем, прежнем, неторопливом течении времени.

И король не может понять, куда исчезло его преданное дворянство, где верные солдаты. Он не знает, что все волшебным образом изменилось, ибо за день революции общество прожило сто лет. Что верными престолу остаются только швейцарские гвардейцы, потому что они чужие, и вместе с властью существуют в прежнем времени.

На развалинах Бастилии, растаскав на сувениры ее камни, просвещенные аристократы славят падение своего монарха... стараясь не замечать голов защитников крепости, качающихся на пиках над поющей толпой.

Стоят солнечные дни. Там, где была Бастилия, открываются кафе. И принц крови герцог Орлеанский обличает своего короля под овации черни. «Гражданин Эгалите» гордо носит эту кличку толпы, братается с народом... не понимает, что и он обречен.

Ибо глух и слеп не только несчастный король. Просвещенные философы, вольнолюбивые аристократы, устроившие революцию, также не понимают ее стремительности. Вчерашние рабы, которых они освободили, сегодня (скорости революции!) вместо вечной благодарности уже почувствовали себя новыми хозяевами и ненавидят вчерашних хозяев-освободителей. Невидимые часы торопятся к невиданной крови.

Террор революции... Общество, обезглавившее своего короля, не может остановиться. Отведавшие крови своего пастыря – безумны...

Рушатся авторитеты опыта и возраста, таланта и происхождения. Все низвергнуто. На вершины возводятся исполины, которые при падении оказываются карликами...

Сам он счастливо избежал этого времени. Гибель родного брата, гибель жены брата... все случилось без него: он уехал в Америку.

Америка... Сражения с англичанами, переселенцы, индейцы, пустыня... Как все это будет разнообразить повествование!

Гибель революции произошла в его отсутствие. Вечная человеческая комедия – вчерашние рабы, уставшие от свободы, потребовали новых цепей.

И вот он пришел – Смиритель революции. И железным посохом загнал в теплый хлев мятежное человеческое стадо.

Бонапарт...

Последняя часть будущей книги. Он вернулся во Францию и застал империю, новый двор Наполеона. Вчерашний лейтенант пытался повторить великолепие королевского двора. Но изящество и грация умирают при звуках барабана. Двором должна править женщина, а не вчерашние булочники и солдаты – наполеоновские маршалы, для которых дворец – всего лишь бивуак между сражениями.

Но наполеоновский двор – не только жалкий фарс. Это преступный плод недавнего Апокалипсиса. Здесь соединились недобитки-аристократы с убийцами своих отцов и братьев, здесь потомки жертв братались со своими палачами.

Здесь он встретил мужа кухни. Став графом империи, он мило беседовал в салоне с ее убийцами.

И вчерашние революционеры, столь недавно с ненавистью убивавшие обладателей титулов, теперь наслаждались этими титулами, которые как кость швырял им император плебеев.

Наполеон... Маленький, пухлый, в белых лосинах, торчит брюшко. Он похож на молодого буржуа, отнюдь не на человека, залившего кровью целый мир. Он кажется даже добродушным, пока не встретишься с ним взглядом. Ледяной взгляд, от которого дрожали его бесстрашные маршалы; взгляд – бездна, холод, смерть. Непреклонный, квадратный, как топор, волевой подбородок императора...

Он легко отнял свободу у французов. Оказалось, толпа вовсе не любит свободу, их единственный кумир – равенство (недаром оно связано тайными узами с деспотизмом). И Бонапарт воистину уравнил всех французов – и в правах, и в бесправии. Право на собственное мнение имел лишь один человек во Франции.

Но владыке мира не удалось купить Поэта.

«Почему-то большая литература всегда против меня, а маленькая – за». Это сказал Наполеон о нем. И он гордился, когда император запретил его речь в Академии. «Будь она произнесена, мсье Шатобриана пришлось бы бросить в каменный мешок».

Падение Наполеона...

Когда-то старик Мерсье сказал: «Постараюсь прожить подольше.

Мне очень интересно знать, чем все кончится».

Что ж, и Мерсье, и ему это удалось. Они увидели гибель королевства, потом гибель революции и вот теперь – гибель империи.

Союзники приблизились к Парижу. И Бурбоны, которых *навечно* (бойтесь этого слова, вечность – прерогатива Господа) изгнала революция, готовились въехать в столицу.

И его соседи, вчерашние революционеры, бросились в бельевую мадам Шатобриан за белыми простынями, чтобы намалевать на них королевские лилии.

Селеста с честью отстояла свою бельевую. Но тысячи флагов с лилиями висели тогда на парижских домах. И должно быть, русский царь и союзники очень удивлялись несметному количеству монархистов в Париже. Монархию в те дни любили все. Даже палач Сансон, обезглавивший и короля, и королеву, и аристократов без числа, оказался в душе монархистом (так его сын писал теперь в своих воспоминаниях).

Правда, оставался грозный вопрос – *кто!* Кто был в тех беспощадных толпах, которые громили аббатства и дворцы? Кто тысячами собирался на площади и в восторге вопил, когда рубили головы аристократам? Кто выкинул из могил останки великих королей, спавших вечным сном в Сен-Дени, и бросил их в грязную яму? Кто?!

В то время ему удалось получить постановление революционного Трибунала о казни четырнадцати человек, среди которых были его брат, жена брата и ее родители – добрейший господин Мальзерб и его супруга, а также их кузина, старуха-герцогиня де Грамон. Их всех обезглавил на площади Революции этот «тайный монархист» – палач Сансон.

Милый Мальзерб... Он был министром Людовика и великим либералом, приверженцем и старых добродетелей, и новых идей. Когда революция победила и чернь держала короля и королеву пленниками в Тюильри, Поэт вместе с братом пришел к Мальзербу спросить совета – уезжать или не уезжать из Парижа?

И Мальзерб сказал им: «Ни в коем случае! Поверьте старику, весь этот кровавый балаган скоро закончится, и, как любит говорить наш король, нация вновь вспомнит свой счастливый и веселый характер». Брат послушал родственника, а он – нет.

Прошло совсем немного времени, и «народ со счастливым и веселым характером» отрубил голову и королю, и Мальзербу, и брату.

Ну а потом он опишет нынешний венец человеческой комедии.

Кто сейчас ближе всех к королевскому двору, вернувшемуся во Францию? Кто стал доверенным лицом у Людовика Восемнадцатого? Негодяй Талейран – епископ-расстрига, предавший последовательно Бога, революцию, Наполеона, кичившийся тем, чего следовало стыдиться: он сумел уцелеть после падения всех режимов. Великие умы, свершающие великие события, как правило, гибнут. Умы второстепенные, умеющие извлекать из великих событий выгоду, остаются.

Наслаждается нажитым богатством двойник Талейрана (и оттого ненавистник) Фуше, стрелявший из пушек по беззащитным, связанным аристократам в Лионе, забивший трупами целую реку. Министр полиции – при Директории, покончившей с революцией, при Наполеоне, покончившем с Директорией, при короле, покончившем с Наполеоном. При короле, родном брате прежнего короля, одним из убийц которого был Фуше!

Какие сцены будут в его книге!

Все успокоилось в душе. Приблизилась старость. И звуки прошедшей жизни яснее слышны, как в осеннем, опавшем лесу. Несправедливость старости... Старый Поэт как старый соловей, – в этом уже противоречие. В конце концов, для Поэта Господь мог бы сделать исключение.

Он придвинул бумагу. Торжественный час...

Надо начать со вступления о тщете. Он много путешествовал в юности, чтобы понять: нет нужды путешествовать по земле. Самое сладкое путешествие – внутрь самого себя, ибо каждый носит в себе целую Вселенную... В лесной чаще сядьте на ствол поваленного дерева и в тишине, когда над верхушками деревьев плывут облака, в душе своей вы ясно почувствуете музыку мироздания, величайшую тайну присутствия Его. Так стоит ли искать Истину далеко от дома – на берегах далеких океанов?

Он решительно взялся за перо.

И тогда...

Маркиз де С, писатель

Вот тогда и заскрипела лестница. Шатобриан обернулся и увидел незнакомца, спускавшегося из верхней комнаты.

В каком-то оцепенении он смотрел, как незваный гость ступил на пол. Пол скрипнул.

Тускло светила свеча. И когда незнакомец все так же молча шагнул к столу, он наконец разглядел его и привычно подробно описал: «Тучен. Очень. И очень стар. Стар и его голубой (отлично сшитый, дорогой) фрак, вытерт до блеска временем, как и его розовые панталоны. Но ни малейших следов дряхлости в движениях. Очень правильные (оттого плохо запоминающиеся) черты: небольшой лоб, небольшой нос, выцветшие голубые глаза. Должно быть, в детстве был хорошеньким ребенком. А теперь его лицо, сохранившее детские черты, брошено в вязаную сумку глубоких рытвин-морщин... (Вычурно, нужно иное.)»

– Пришлось ускользнуть от ваших слуг, – заговорил пришедший дребезжащим голосом, – что, впрочем, нетрудно. Прохвосты, как и положено лакеям, выполняли ваше приказание лишь с показным усердием. Но их жалкие старания все же загнали меня в вашу комнату. Заодно я сумел отдохнуть немного, что не лишнее. Сколько лье пришлось пройти по пути к вам! Так что с вашего позволения... – он уселся на стул и отодвинулся в темный угол комнаты.

Теперь он был почти невидим. И только дребезжащий голос звучал из темноты.

Шатобриан сразу понял: знакомый тип; таких он часто встречал в Америке и ненавидел – публичные скандалисты, понятия не имеющие о застенчивости и приличиях. Но он не мог не отметить: наглый старик держался с неким насмешливым достоинством.

Пришелец прочел его мысли:

– Да, мое прошлое – я подразумеваю древность моего рода – вас не разочарует. Для вас это важно, вы ведь считаетесь паладином монархии. Моя мать-покойница была фрейлиной у принцессы Конде, так что я родился во дворце принца. Впрочем, и давно почивший мой отец тоже щеголял титулами – состоял послом при русском дворе. И был в больших друзьях с вашим папашей. Отменный мерзавец! Я о своем отце, про вашего не скажу, не знаю... Я объясняю вам все это, чтобы впоследствии было понятней, почему я пришел именно к вам. И тем не менее мне не хотелось бы называть свое имя, оно не обрело еще того величия, которое готовит ему будущее. Так что пока зовите меня просто – маркиз де С.

Шатобриан молчал.

Маркиз засмеялся:

– Какой дурной у вас вкус... Я, как и вы, провел детство в замке. Но в отличие от вас, так любовно украсившего всеми средневековыми глупостями свое жилище, я с детства хохотал над подобными украшениями. Единственное, что меня примиряло с нашим замком, – множество необитаемых комнат. Сначала я спасался в них от поучений семьи. А потом в одной из них, самой дальней, изнасиловал смазливую служанку. Мне было тогда тринадцать лет... Кстати, у вас на столе прелестный цыпленок. Ужин Поэта. Богатого Поэта! Богатый и Поэт – разве так может быть?.. Однако я умираю от голода. Я проделал долгий путь... и к тому же обожаю хорошо поесть. Вы не будете, конечно, возражать, если я... – Он потянулся и преспокойно забрал тарелку с цыпленком и бутылку вина – ужин Шатобриана (забота Селесты), стоявший на уголке стола. И вновь отодвинулся в темноту комнаты.

– Но, позвольте... – беспомощно начал Шатобриан. Старик будто не слышал и, с упованием поедая цыпленка, продолжал:

– Кстати, история со служанкой – целый рассказ. Могу подарить, как писатель писателю... Забыл вам сказать – я тоже писатель. Сейчас мало кто знает обо мне. Так же, как мало кто не знает о вас. Но не в обиду вам будь сказано – в будущем все станет наоборот... Итак,

о служанке. Считайте это платой за ваше очень скромное угощение. Сначала я застал с ней родича, почтеннейшего аббата, впоследствии приора Тулузского. Кстати, через него мы с вами тоже в родстве. Говорят, этот подлец знал вашу бабушку и наставил прелестные рога вашему дедушке... Впрочем, тогда это не считалось зазорным – такова была эпоха. Ревнивый муж – вот кто был смешон. Обманутый муж – нет. Я ведь все это застал... Когда у графа А. сбежала жена, он тотчас послал за ней свою карету. Нет, не для того, чтобы настигнуть ее с любовником, графом Б., избави Бог! – Старик расхохотался. – Просто сама мысль, что его жена будет путешествовать в какой-то наемной карете, была для него унижительна. И похитивший ее граф Б. впоследствии с гордостью заявлял: «Какая огромная честь быть любовником жены такого благородного человека!»... Однако вернемся к нашему с вами родственнику аббату. – Старик уже хрустел остатками цыпленка. – Итак, мне было тринадцать, когда я затаился в укрытии и воочию увидел, как наш святоша знакомился с тайнами прелестной пещеры, которую плутовка таила под юбкой. Как он ловко-привычно задрал свою рясу и закинул ей нижние юбки выше живота, при этом продолжая с ней беседовать на вечные темы! «Что делать, – говорил он, – Творец создал нас с тем, что мы, глупцы, смеем называть «пороками» и что, возможно, Он называет «потребностями»...

Я не спрашивал тогда себя, почему до сих пор он жив, почему Господь не поразил его молнией... нет! Я был в безумии, всю ночь изнемогал. Видение запрокинутых женских ног... И уже на следующий день я решился сам отправиться в это восхитительное путешествие – по следам родственника. Я был красавчиком, и уложить в постель жалкую служанку после старика-аббата мне бы ничего не стоило. Но, к счастью, я тогда этого не понимал... Я взял нож и подстерег ее в темном коридоре в самой отдаленной части замка. Там находились помещения для прислуги, а рядом была комната, где, по семейной легенде, обитала прапрапрабабушка, убитая почему-то прапрапрадедушкой. В комнате этой, по причине ужасов, в ней произошедших, никто не жил. Вот туда-то я и загнал ее ножом! Пахло сыростью, было холодно – все-таки комнату не посещали лет двести. Я толкнул ее на кровать, подняв столб двухвековой пыли. Она рыдала от ужаса – боялась не столько меня, сколько самой комнаты – и, наверное, ничего не чувствовала. Но я-то чувствовал! Вот тогда я и совершил главное открытие, – маркиз перешел на шепот. – Я понял: в женском ужасе рождается истинное наслаждение мужчины, пробуждается тайная истина – природа Зверя... Да, мы трусливо отвернулись от своей природы. Вот что я открыл! Простите, но все сладкие глупости, которые вы написали о любви, не стоят одного мига слепящей радости от человеческой боли – награды победителю. Мой глупый родственник-аббат пользовался красоткой бездушно, как ночным горшком. Я же наслаждался... Потом, когда я служил в полку, у нас, офицеров, был обычный по тем временам девиз – «Служить королю и женщинам». Когда полк уходил на новое место, мы обязаны были покидать наших дам без сожаления. И я не просто с охотой исполнял этот кодекс негодяя, но со сладким ожиданием, ибо в их слезах во время моего нарочито бездушного, наглого прощания я чувствовал сладчайшее ощущение женской боли. И когда она рыдала, склонив головку, как же мне хотелось... полоснуть ножом по склоненной шее... и как я любил эту вздрагивающую от рыданий беззащитную шейку! И постепенно я понял: оркестр боли и страсти постоянно звучит в природе. Особенно ясно и громко – на низших ее ступенях, где природа говорит без прикрас. Вот почему амебы при совокуплении поедают друг друга и крабы во время случки выкусывают клочки тел... Впрочем, даже при обычном поцелуе пробуждается будто бы невинная жажда – укусить. Да, боль подстегивает наслаждение... Кстати, я следил сегодня за вами, когда вы стояли здесь с юной красоткой. Неужели вас не посетило желание позвать ее наверх и изнасиловать? Уверен, где-то в тайниках души – посетило. Но вы не сумели услышать. А если бы и услышали этот задавленный шепот истины, тотчас перекрестились бы и трусливо зажали уши. И вместо правды написали очередные сентиментальные вирши, которые так нравятся образованной черни...

Более терпеть Шатобриан не мог (потом он много раз спрашивал себя – отчего он вообще слушал маркиза?).

– Послушайте, вы, старик! Неужто вам не стыдно все это говорить?

Маркиз погрозил ему из темноты пальцем.

– Не будьте банальным пошляком. Правда, кто-то из вас, пошляков, решив объясниться поприличнее, объявил: «У желаний нет возраста». Это тоже глупость. Возраст только утончает желание. И все слышнее голос, который поднимается со дна... загаженного за нашу жизнь дна души... Сонный голос Зверя, убаюканного законами, религией, страхом. И надо быть смельчаком, чтобы разбудить спящего. Вот об этих смельчаках я и писал. Мои сочинения даже издавались во время неразберихи революции. Вы в это время отсиживались по заграницам и не застали мига моей скандальной славы... да, пожалуй, можно употребить это слово – славы! Так что я пришел к вам как писатель к писателю.

– Послушайте наконец...

– Да, конечно, вы торопитесь. Торопитесь начать писать очередную сладкую ложь, которой такие, как вы, столетиями потчуют человечество. Зачем я пришел? Хотите банальной конкретности? Такой же пустой формальности, как мое имя? Мое древнее славное имя, – он расхохотался, – которое я запятнал, по словам идиотов. И которое я возвысил, по будущим словам смелых потомков.

– Послушайте, вы съели мой ужин. Что вам еще нужно от меня?

Шатобриан пытался быть грозным, но почему-то не получалось.

Маркиз будто не слышал его. Он вдруг задумался и долго молчал, а потом со странным усилием заговорил:

Рассказ смельчака

– Я пришел продать вам некую удивительную историю. Но, к сожалению, она нуждается в предисловии. Итак... – он опять задумался и наконец продолжил: – Итак, после замка, где я (как и вы) родился, я, в отличие от вас, провел долгое время в разного рода местах, где вам побывать не удалось. – Он вновь рассмеялся. – Простите... я представил вас там... Хотя я уверен, что всякому пишущему надо непременно *там* побывать. В этих местах для смельчаков... Я говорю о тюрьмах.

– Но мне это все неинтересно... – жалко начал Шатобриан.

Старик не слушал. У него была такая манера – не слушать собеседника. С обворожительной светской улыбкой он продолжал говорить:

– Например, тюрьма в Венсеннском замке, где был заключен и расстрелян жалкий герцог Энгиенский, столько раз воспетый вами. Задолго до него сидел там я, ваш покорный слуга. За что? За отвагу, за искренность в желаниях. Проститутка пожаловалась, что я не выпускал ее из своего дома, бил и после этого заставлял заниматься любовью. Точнее, всеми ее видами. Именно эти разнообразные варианты наслаждений, которым мы предавались, почему-то названные в протоколе «извращениями», она старательно перечислила. И за это меня отправили в тюрьму. Какая нелепость! И где логика? Если она продает свое тело для наслаждений, оно уже принадлежит тому, кто за него заплатил. Если занимаешься ремеслом розы, терпи уколы шипов... Но то, что понятно в Риме и Венеции, где эту девку не стали бы даже слушать, постарались не понять у нас в Париже. Это случилось перед революцией, тогда выступать против старой аристократии было модно.

И они упекли меня... Но Венсеннский замок, где я отбывал срок, надо сказать, оказался очень приличным заведением. Там прекрасный повар, приятные прогулки по двору замка, где, кстати, совсем недалеко от рва и шлепнули (любимое словечко нашей революции!) столь чтимого вами герцога Энгиенского... Потом уже в моей жизни были грязные провинциальные тюрьмы... Я похитил трех девушек и знатную даму и всех вместе, как сказано в обвинении, «удерживал в своем маленьком домике». Мой «*petite maison*»³, полный поэзии... Вы должны были еще застать эти милые домики, которые понастроили вельможи в дни славного короля Людовика Пятнадцатого. Вы бывали в них?

– Я не бывал в них! Не бывал!

– Простите, но, видимо, по причине ханжества. А жаль... Я владел таким домиком. И каждый раз, когда выходил из тюрьмы, мчался в мои «листья», в мои «безумства»! Это была очаровательная игра слов: сравните «*folie*» – «безумство» с латинским «*sub foliis*» – «под листьями». И вправду, домики, где мы, смельчаки, предавались любовным безумствам, прятались в окрестностях Парижа в тени деревьев под густой листвой. – Теперь маркиз говорил несколько нараспев, будто читая стихи. – Снаружи похожие на обычные фермы, а внутри – маленькие дворцы. Моя спальня выходила в крохотный сад, где сквозь листья белела мраморная плоть: нимфы и сатиры изображали утехы любви. И ручейки, и маленький фонтан журчанием аккомпанировали звукам любви внутри моего домика. Стены, обитые шелковой розовой материей, зеркала, мраморная ванная, клавишин, разрисованный Ватто, краны в виде лебединых шей лили душистую воду, часы в виде нимфы с несравненным задом, на котором стрелки отсчитывали время... В моих «*folies*» бывали и девки с улицы, и знатные дамы. И она – знаменитая танцовщица Бовуазен... Вижу, вы не потрясены. Вот так проходит мирская слава! Неужели вы ее не помните? Да, да, вы слишком молоды были в то время. Как она была знаменита... о ней писали во всех скандальных мемуарах. Ее грудь, ее осиная талия,

³ Домик (фр.).

великолепные бедра... легенды века! И когда она... Понял! Щажу ваше ханжество... Нет, жизнь тогда была прекрасна, если бы не одно несчастье: я был женат. На скучной даме, естественно, из прекрасной семьи – шесть сотен лет во французской истории. Понятно, что средневековые идиоты-родители никак не могли понять экспериментов смельчака. И когда... как бы это сказать... я вовлек в мои любовные изыскания ее родную сестру...

– Я просил вас!

– Да, да... Вновь щажу ваше ханжество... Тесть и теща упекли меня в Бастилию. Там, кстати, тоже хорошо кормили. Башня, где я сидел, называлась «Башня Свободы» – у кого-то был дьявольский юмор. На ней стояли пушки, безбожно палившие в дни праздников. Они мешали мне работать. И в этой башне я провел пять лет. Там-то все и случилось...

– Неужели вы наконец приступаете к сути повествования?

– Спешу вас обрадовать – почти. Вы не могли бы по этому радостному случаю приказать принести мне немного вина?

– Нет, – мрачно сказал Шатобриан.

– Ваша воля. Хотя куда гостеприимней было бы... – Нет!

Старик вздохнул и продолжал:

– Все началось с того, что за большие деньги мне разрешили приводить в камеру любимую шлюху. В свое время я познакомился с нею в провинциальном борделе. Если б вы знали, какое у нее было лицо... какое *особенное лицо*! Когда я увидел его... Но об этом потом, если согласитесь купить мою историю. Короче, она приходила ко мне в камеру и с превеликим удовольствием позволяла мне делать именно то, за что я был туда посажен. Держать в тюрьме за то, что позволяют делать в этой самой тюрьме! Абсурд... точнее, символ... Она приходила ко мне до тех пор, пока ее не увидел комендант Бастилии. Когда он увидел ее лицо, то чуть не плюхнулся в обморок... и моя подруга тотчас исчезла из моей жизни. Зато все волшебным образом переменялось. Мне разрешили доставлять все, что я так любил: шоколад, горшочки с джемом, персики... На этих яствах и в неподвижности я, как видите, растолстел. А был строен... Мне разрешили застелить ковром ледяной пол, побелить каменные стены, покрыть их портъерами – получилось неплохое гнездышко, где я принимал их... Да, да, меня совсем удивили: вместо моей возлюбленной позволили приглашать девиц из соседнего борделя. А дальше – больше: мне разрешили принести из дома тетради голландской бумаги. Чудо! Теперь меня не мучили обысками и позволяли писать в этих тетрадях все, что я хочу. И осенними вечерами я вдохновенно описывал то, что мне разрешали делать только в камере. В башне, вознесенной над крышами Парижа, я чувствовал себя так же одиноко, как мои герои в этом жалком мире. В моем мозгу они совершали поступки, которые вам показались бы чудовищными... но которые свойственны нашей природе. К колоннам в зале привязывали пышногрудых женщин. Их спины, обращенные к алькову, где сидели мои герои...

– Замолчите немедленно!

– Охотно повинуюсь. Я, конечно, понимал, что только по чьей-то *таинственной и могущественной воле* переведен на это особое положение, и неизвестно, что будет со мной завтра. Я так привык к насмешкам судьбы, не любящей нас, смельчаков. И оттого сделал все, чтобы обезопасить главное – свою рукопись. Чтобы удобнее было ее прятать, я соорудил из тетрадей свиток длиной этак в сто пятьдесят метров и после работы сворачивал манускрипт, отправлял его на покой в тайник, сделанный мною в стене камеры.

И однажды – началось! Рано утром (я еще спал) ко мне в камеру ввели посетителя. Он предложил мне одеться и следовать за ним. Меня посадили в карету, и мы беспрепятственно покинули Бастилию.. Меня привезли в Пале-Рояль. Я любил это место, где по аллеям гуляют коточки, так похожие на герцогинь, и герцогини, так похожие на девок. Меня проводили во дворец. И я увидел принца крови...

– Герцог Орлеанский! – воскликнул Шатобриан.

– Ненавидимый нынче вами и всеми герцог Орлеанский! Кто бы мог подумать тогда, что всего через несколько лет революция подобострастно назовет его «Гражданин Эгалите» и сей принц крови будет голосовать за казнь короля... Вот тогда, во время нашей беседы, я и узнал, в чем странная причина всех оказанных мне милостей. Вы не утомились?

– Продолжайте, – глухо сказал Шатобриан.

– Но я попрошу вашего слова о конфиденциальности моего дальнейшего рассказа. И если вы не купите моей истории, то она должна умереть в вашей памяти. Шатобриан кивнул.

– Словами, мой друг.

– Я обещаю, сударь.

– В отличие от вас я всегда любил Орлеанский дом. Я ценил славного Регента в дни малолетства Людовика Пятнадцатого, этого смельчака, буквально сгнившего от любовных наслаждений. Даже намеревался тогда сделать его одним из своих героев... «Колесован на плахе наслаждений» – какая прекрасная фраза, сказанная им о себе самом! Ибо наслаждение и боль – вместе. И единственный закон, который, как известно, он написал: «Будем развлекаться». И все! В оригинале, правда, он звучал куда смелее и простонароднее: «Будем...» А венерические болезни, которыми он бесчисленно болел и гордился, как ранами, полученными в бою! Ибо истинные смельчаки – еще и гуманисты: они признают только один вид сражений – в постели. И одну боевую награду – наслаждение...

И вот передо мной сидел его правнук. Я не мог не смотреть на него с жалостью, ибо он не унаследовал доблестей предка, а занялся политикой. И удовлетворялся, как знал тогда весь Париж, нудными прелестями госпожи де Б.

«Я решил воспользоваться вашими услугами, – сказал мне герцог. – Но сначала о некоторых распоряжениях. Это по моему приказу дама, которая вас навещала прежде, исчезла из вашей жизни».

«Я хотел бы узнать о ее судьбе. Она мне не безразлична. И более того...»

«Она пока живет у нас во дворце. У нее слишком *особенное лицо*. – Он засмеялся. – Я представляю, что вы испытывали, когда...»

С готовностью я тотчас начал рассказывать, но герцог (как и вы) был обычный ханжа. Он прервал меня:

«Ну полно, полно... Я уверен, мы сможем использовать ее лицо на благо Франции. Но вы, надеюсь, не в обиде, к вам приходят другие дамы. И в изобилии...»

«Я благодарен вам, Ваше Высочество, и за прочие заботы обо мне».

«Я слышал, вы ненавидите короля, – продолжал герцог, – который столько раз отправлял вас в тюрьму...»

Он слышал это, конечно же, от моей шлюхи!

«...и я хочу подтверждения вашей ненависти. Короче, настало время создать... точнее, придумать, некую интригу, которая окончательно дискредитировала бы прогнивший режим. Говорят, вы непристойный писатель?»

И это, конечно же, рассказала ему моя обожаемая шлюха.

«Смелый, Ваше Высочество», – радостно поправил я его.

«И я уверен, – продолжил герцог, – вы понимаете толк в подобных историях. Короче, вы примете участие...»

«Вы хотите, чтобы я ее сочинил?» – с восторгом перебил я.

Но герцог, этот идиот, только поморщился и сказал:

«Да нет, сочинить ее сможет только один человек во всей Франции. Я говорю о Бомарше... Вы же должны явиться к господину Бомарше и рассказать ему про нашу идею. Я уверен, он с радостью примет наше предложение. Ибо мсье Бомарше нынче очень обижен королем...»

После чего он нудно изложил мне суть обиды Бомарше. И наконец перешел к главному: «Короче, когда Бомарше примет предложение, вы тотчас привезете к нему вашу подругу с *особенным лицом*. Я уверен, он оценит возможности ее лица для нужной нам интриги, оно вдохновит нашего прославленного выдумщика. А вы... вы будете ему во всем помогать».

Какой удар по самолюбию! Я ведь был уверен, что они хотят помощи моего пера, что они прослышали о моем таланте! А они прослышали о моей шлюхе!

«А после того, как я переговорю с Бомарше...»

«Я понял, – прервал меня герцог. – Нет, дать вам сейчас свободу не в моей власти. После исполнения поручения вы, к сожалению, вернетесь в тюрьму. Но иногда будете ее покидать. Через вас мы намерены постоянно держать связь с мсье Бомарше. Но поверьте, недолго вам быть в тюрьме. Слабый режим накануне гибели. И вы поможете столкнуть его в пропасть. Жалкий король не должен управлять государством».

«И ты хочешь его сменить», – подумал я.

Герцог читал мои мысли, ибо они были банальны.

«Вы правы», – сказал он.

Маркиз замолчал.

– И что же дальше? – спросил Шатобриан. Маркиз усмехнулся:

– Наконец-то я вас заинтриговал! Дальше... дальше я виделся с Бомарше несколько раз.

И еще: я узнал, что Париж накануне восстания. И примет в нем участие не только народ – все эти безродные Фигаро, – но и принцы крови. Так что восстание обещало быть успешным... Вот почему уже второго июля восемьдесят девятого года, как только начались волнения в Париже, я радостно орал из окна своей камеры, призывая народ взять Бастилию – оплот тирании. Я кричал что-то о приказе убить всех узников... Уже собиралась толпа, когда меня оттащили от окна и без лишних слов увезли из Бастилии в дом для умалишенных.

Через двенадцать дней Бастилия пала. Так что можно считать – я начинал Французскую революцию... во всяком случае, оказался среди ее первых жертв. Ибо когда народ взял Бастилию, он тут же беспардонно ограбил мою вчерашнюю камеру. Плод ночей, великий роман – мои «Дни Содомы» попросту вышвырнули из окна. Мой свиток... мой мозг летал по улице! Как раз напротив Бастилии находился дом Бомарше, точнее, его дворец, куда меня столько раз привозили... Старик вдруг остановился и спросил:

– Кстати, как вы относитесь к Бомарше?

– Я не был знаком с этим великим человеком.

– Великим человеком? Он был для вас великим человеком? Великим? – повторял маркиз с дребезжающим смехом. – Тогда моя история вас заинтересует... Я уже говорил: толпа, захватившая Бастилию, выбрасывала бумаги из секретного королевского архива, который там находился. Прямо на площади валялись древние пергаменты, указы французских королей с девятого века, великолепные старые Библии... И счастливая толпа плясала, топчя их, оставляя на драгоценных бумагах следы нищих башмаков. Уже после революции я узнал, что Бомарше тоже поспешил на площадь. Он собирал эти бумаги. И я тотчас предположил: он подобрал и мой роман! Я бросился к нему... Наша встреча происходила тотчас после моего освобождения. Как только я спросил его, и, прежде чем он открыл рот для ответа, я понял: он взял!

Маркиз остановился задыхаясь.

– И что же? – спросил Шатобриан.

– Ничего. Бомарше все отрицал. Я умолял – он не отдал. Еще бы! Завладеть романом гения и отдать?.. Потом он бежал за границу. А я... я стал большим человеком, был назначен комиссаром Больничной ассамблеи, как «пострадавший при проклятом королевском режиме». Кстати, в те дни я мог легко отомстить родителям жены. Но я добр – трижды

вычеркивал их из списка аристократов, отправляемых на гильотину. Об этом, конечно же, донесли. Мне пришел бы конец – ан нет, падение Робеспьера спасло меня от гибели... благодаря чему я и могу преспокойно обглаживать у вас цыплячьи косточки. Эту благородную помощь писателя писателю, проделавшему длинный путь пешком... Тогда, в дни революции, я даже сумел издать кое-что из того, что написал. Некоторые великие творения...

– Вы это уже говорили.

– Старческое... Впрочем, после революции Бонапарт сжег их. Все тираны заботятся о благопристойности, точнее, о границах загона, где должно содержаться стадо трусливых двуногих. Сочинения смельчака были ему противны. И вот тогда он отправил меня... Да, я не назвал вам свое последнее, нынешнее жилище. Я ведь живу в замке, как во времена моего детства. Правда, сей замок занимает теперь сумасшедший дом. – Маркиз усмехнулся и добавил: – Простите за банальность, но вы не хуже меня знаете, что во все так называемые «великие эпохи» (а они на деле всегда самые страшные) сумасшедшие – единственно нормальные люди. Так что нас объединяет не только родство, то бишь мой родич аббат, когда-то трахнувший вашу бабушку, не только наше ремесло... но и Бонапарт. Ведь и вас деспот тоже преследовал. Кстати, нас объединяет и слава... я, знаете ли, написал множество пьес, которые долго не мог поставить. Пока не попал в сумасшедший дом и там вместе с сумасшедшими – поставил. И, надо сказать, получил полное признание. И теперь, как и вы, упиваюсь своей славой...

Какое родство биографий! Даже в темах у нас много общего. Вы пишете о прелестях женщины, я тоже. Разница лишь в их местоположении. Ваши прелести наверху, воспетые мною – внизу. Ну и что?! Сколько раз, глядя на лица людей, я думал: почему можно ходить с голыми лицами, а, к примеру, с голой задницей – нельзя? Кстати, воспетых вами индейцев интересовали те же проблемы. Когда европейцы впервые увидели индейцев, они спросили: «Почему вы голые?». Индейцы тотчас показали на лица вопрошавших: «Но вы тут тоже голые». «У нас здесь лицо», – ответили болваны-европейцы. «А у нас всюду лицо», – сказали мудрецы-индейцы...

Так что мы оба с вами воспевает Лицо. Именно наше сходство заставило меня прийти к вам...

Маркиз все блуждал в бесконечных рассуждениях. И опять какая-то сила не давала Шатобриану прервать наглеца. Как всегда, он терялся перед наглецами.

– Я ведь давно пытаюсь к вам проникнуть, – продолжал маркиз. – Первый раз я бежал из своей психушки, дай бог память, в тысяча восемьсот седьмом году. Вы жили тогда в роскошном отеле рядом с Тюильри. Ваши окна выходили как раз на площадь, где когда-то стояла гильотина. И, слоняясь около гостиницы в надежде с вами столкнуться, я вспоминал, как в дни революции ходил сюда смотреть казни. Помню, как король стоял на эшафоте... толстый, с выпадающим из-под белой рубашки животом... такой домашний... этаким добрым буржуа, который укладывается спать. И они уложили его отдохнуть на доску – шлюху-доску, на которой лежало, содрогаясь, столько тел. И нож гильотины прыгнул на его шею... А народ, еще вчера молившийся за болвана-короля, обезумев от счастья, весело мочил платки в королевской крови. Какой удивительный воздух был на площади! Только там, дыша этим воздухом, я до конца понял, что такое революция. Это наша тайная жажда насилия, не нашедшая удовлетворения в блюде и оттого вырвавшаяся наружу. Вот отчего на казнях всегда была и будет восторженная толпа – радостная, ибо она освободилась от бремени условностей!

Там были постоянные зрительницы, мы их называли «фурии гильотины». Они приходили в экстаз от крови и спали с палачами – мерзавки вслед за мной открыли для себя сладострастие, заключенное в боли. Я платил им, и они пускали меня в свои постели... обычно днем, когда были свободны от любовников-палачей. Посвященные, познавшие радость насилия и крови, они со страстью откликались на самые разнообразные фантазии. – Он

наклонился и зашептал: – У одной из них комнате висела целая коллекция платков, смоченных крови самых разных посетителей эшафота – от короля и королевы до Дантона и Робеспьера... Среди этих кровавых платков мы дошли до предела фантазий... Стена! Но я решил продвинуться дальше, я предложил... зарезать ее. И она было согласилась... но дуре не хватило выдержки, опьянение прошло... спохватилась! И этот сюжетец тоже мой вам подарок. Отдаю бесплатно – пригодится, вы ведь воспоминания пишете, как оповестили газеты. А мы все читаем в сумасшедшем доме... Но за историю, ради которой я к вам пришел, – поверьте, историю удивительную! – мне уж придется потребовать с вас деньги. Они мне позарез нужны. Как я уже объяснил, всякая власть у меня отнимала свободу: Бурбоны, революция, Бонапарт... Кстати, ваш друг Людовик Восемнадцатый, вернувшись, посвятил целый час расспросам о моей судьбе и, выслушав мою историю, повелел оставить меня в психушке... Вот эпитафия, которую я приготовил для своей могилы: «Тирания вела с ним непрестанную войну. Под охраной королевского закона она едва не замучила его насмерть. И в дни террора революция попыталась увлечь его в бездну. И в дни империи он оставался ее жертвой. И возвращение Бурбонов не изменило его участи... Преклони колени и помолись о нем».

Так что у меня был только один путь – воспользоваться нынешним хаосом и освободиться самому! И я бежал из сумасшедшего дома и теперь направляюсь в Бельгию. Роскошь для смельчака – хочу умереть на свободе... Но, чтобы добраться до Бельгии, нужны деньги. Я хочу взять с собой жену и семнадцатилетнюю любовницу... она дочь кастелянши в сумасшедшем доме. У нее верткая попка...

– Замолчите!

– Мне так нравится вас злить... Вы вечно сытый, я вечно голодный. Я волк, не добытый в вашей долине...

Маркиз стал надменен и угрюм. И он сказал:

– Вот вам мое предложение... Но сначала хочу еще раз спросить: вы серьезно полагаете, что Бомарше велик?

– Он – гений!

– Мне это тоже казалось... но в очень далекой молодости. Я даже завидовал ему, пока сам не взялся за перо. Гений Бомарше... – Он расхохотался и, помолчав, добавил: – Так вот, я убил этого говнюка. Пятнадцать лет назад. И пришел продать вам эту историю.

Граф Ферзен: «несколько важнейших дат моей жизни»

Граф Аксель Ферзен писал сестре:

«Моя нежная, моя добрая Софи! Я должен уехать в Париж. Письма, которые я получил от маркиза де С, не оставляют сомнений. Я нашел злодея и обязан свершить суд. Я должен! Двадцать пять лет назад я Ее увидел, и теперь Она зовет меня отомстить. Кто знает, удастся ли мне вернуться из Парижа? Тебе известно, я приговорен там к смерти. Поверь, я все сделаю, чтобы вернуться и не огорчить любимую сестру. Но коли Бог решит иначе, я попрошу тебя помочь мне и сполна вернуть мой долг баронессе Корф. Это та великодушная вдова русского офицера, которая восемь лет назад отдала мне все свои деньги и деньги своей матери... Впоследствии потомки с печальной усмешкой вспомнят, что только *русская* баронесса согласилась предоставить средства шведскому дворянину, чтобы спасти *французскую* королевскую семью. Но она не только дала деньги, она рисковала жизнью, передав Ей свой паспорт...

Теперь отважная баронесса Корф и ее мать остались совершенно без средств. Все мои просьбы к европейским монархам помочь баронессе вернуть затраченное тщетны. Даже Ее коронованные родственники не услышали моих просьб. Какой печальный урок! И это в наш век, когда так нужно поощрять преданных слуг монархов.. Ты знаешь, я разорен. Все мои деньги поглотили безуспешные предприятия, которые так и не сумели помочь Ей...

Перед отъездом я счел долгом навестить в Вене своего друга, русского посла графа Андрея Разумовского, через которого я пытался помочь бедной баронессе. Он – воплощение мужественной красоты и хороших манер. Так забавно думать, что предки этого истинного аристократа всего несколько десятков лет назад пасли коз. Как он сам со смехом рассказывает: когда приехали из Петербурга везти его отца к императорскому двору, тот от страха залез на дерево. Отцу тогда было пятнадцать лет, и он был неграмотен, что, однако, не помешало ему уже через несколько лет учиться в прославленном Геттингене и потом возглавлять Российскую академию наук!

Этим чудесным поворотом в своей судьбе его отец был обязан своему старшему брату, которого русская императрица Елизавета случайно увидела поющим в церкви («*revchii*» – так называлась в России его профессия, ибо в русских церквях поют). Императрица безумно влюбилась в него с первого взгляда. Фаворит приходил к ней тайно каждую ночь, и двор с насмешливой почтительностью звал его «ночным императором». Влюбленность императрицы была такова, что она тайно обвенчалась с ним и даже понесла от него девочку, которую новая правительница Екатерина заточила в монастырь.

Потом появились самозванки, объявлявшие себя дочерьми императрицы.. Как тесен мир! Я рассказал графу Разумовскому, как в первый свой приезд в Париж встретил на балу в Опера (ты знаешь, как мне памятен *тот бал*) очаровательную сумасбродку, которая утверждала, что она – дочь Елизаветы... Выслушав меня, граф Андрей только усмехнулся и поведал мне печальное окончание истории сумасбродки. Императрица Екатерина, имевшая весьма малые права на русский престол, очень серьезно отнеслась к этим фантазиям. И подослала к бедняжке какого-то красавца, который влюбил ее в себя, заманил на корабль и отвез в Россию, где несчастная зачахла в заточении... Какое счастье, что ужасный век, столь жестокий к любящим сердцам, наконец-то заканчивается, дорогая Софи!

Что же касается денег баронессы Корф, граф Андрей сказал, что, как и обещал, несчетно писал о них недавно почившей Екатерине, но денег от обычно щедрой императрицы так и не поступило. И хотя, по его словам, Екатерина, узнав о казни несчастного Людовика, слегла в постель, к Ее гибели она осталась совершенно безучастной и даже сказала жестокие слова: «Антуанетта никогда не могла исполнить главной обязанности монарха

– быть деспотом для самой себя. Она носила корону в свое удовольствие, как носят модную прическу. Это опасно, ибо можно потерять голову вместе с прической».

Подобные слова когда-то писала и Ее мать... Никто не понимал Ее. Она была последней богиней Любви, зачем-то навесившей наш безжалостный век, воплощением изысканного мира, который погиб с Нею навсегда. Само изящество, само совершенство, сама красота были погублены грязной толпой...

Прощаясь с графом Андреем, я попросил его все-таки написать о баронессе только что взошедшему на престол императору Павлу. Но граф только усмехнулся и сказал: «Худшей рекомендации, чем моя просьба, для нового императора трудно придумать».

Значит, правду болтали при венском дворе, будто первая жена Павла, тогда еще наследника, была влюблена в графа Андрея.

И после ее безвременной кончины Павел нашел в ее секретере письма, из которых все стало ясно... Потому императрица Екатерина и поспешила отправить графа Андрея послом в Неаполь.

Прости за многословное послание, но мне не с кем поговорить. С некоторых пор мне неинтересны люди. Только ты и, пожалуй, этот русский граф... Ты сейчас поймешь, почему. В Неаполе граф Андрей увидел королеву Каролину, Ее сестру. И вспыхнула взаимная страсть... И опять русской императрице пришлось заниматься очаровательным графом: из Неаполя она поспешила перевести его в Вену, безжалостно разбив оба сердца...

В дверях я обнял его. Он все понял, глаза его заблестели. Как много разбитых сердец, погубленных жизней, уничтоженной красоты! Стоя в дверях, мы беседовали почти час – два человека с погибшими сердцами. Мы заговорили о Них. О сестрах. О самых дорогих нам на свете. И еще – о Ее гибели. О море крови. О конце грозного века. Что-то нам сулит век грядущий?..

Он сказал: коли в России случится такое, как нынче во Франции, мир содрогнется от невиданных злодеяний! Он поведал мне о безграмотном кровавом казаке, который чуть было не взял Москву. И, провожая меня до коляски, сказал: «Не дай бог, коли явится вот такой казак да с университетским образованием. Разве что Господь не допустит...»

Надеюсь, ты поняла, дорогая Софи: я старался сделать все, чтобы вернуть деньги баронессе Корф. Но так как сие мне не удалось, то в случае моей гибели прошу тебя, любимая сестра, исполнить мое поручение: продать мое имение и передать деньги баронессе.

Скоро июнь – очередной печальный юбилей. Восемь лет со дня Ее неудачного побега, который я до сих пор простить себе не могу!

Прощай. Или нет – до свидания, моя дорогая сестра.

P. S. Коли не вернусь, бумаги, которые лежат в моем бюро, перевязанные алой лентой, немедля следует сжечь».

Запечатав письмо, граф открыл записную книжку и написал:

«Вена. 21 апреля 1799 года. Ночь стоит теплая при полной луне. Черный парик и бородка ждут меня на ночном столике. Ящик красного дерева с пистолетами и две шпаги слуга уже отнес в карету. Я только что закончил письмо сестре. Письмо сие из-за важности сведений вписываю в записную книжку, подаренную Ею...

Часы пробили полночь, и я вновь возвращаюсь к изложению важнейших событий моей жизни. Не в последний ли раз? Сие известно только Господу».

Через полвека в родовом замке Ферзенев в тайнике над камином нашли пачку писем. Описание находки за подписью «Карл Скотт, профессор (Стокгольм)» было напечатано в лондонской «Санди Таймс»:

«Пачка (13 писем) перевязана алой лентой. Все письма написаны одним почерком, в котором легко узнать небрежный почерк Марии Антуанетты. Также в тайнике обнаружена

записная книжка графа Ферзена. На первой странице рукой французской королевы написаны стихи-посвящение:

Что Вы напишете на этих страницах,
Какие тайны доверите им?
О, они, бесспорно, предназначены
Для самых нежных воспоминаний.
А пока они пусты,
Разрешите в знак нашей дружбы
Начертать эти несколько строк
На самой первой странице.

Все дальнейшее в записной книжке написано ровным каллиграфическим почерком графа Акселя Ферзена. Вслед за стихами французской королевы граф пишет: «Она подарила мне свой портрет и эту книжку «для записи памятных дат». И вот через столько лет я решил воспользоваться ею».

Далее заголовок: «Несколько важнейших дат моей жизни».

(Профессор Скотт отмечает, что «последующий текст был написан графом Ферзеном, скорее всего, ночью перед отъездом в Париж... Аксель Ферзен, видимо, опасаясь не вернуться живым из путешествия, решил изложить свою историю. Кто должен был быть ее читателем? Скорее всего, сестра, которую граф безумно любил».)

«В 1773 году я более года путешествовал по Европе, знакомясь с достижениями науки. В Фернее мне выпала честь беседовать с Вольтером.

10 января 1774 года при солнечной морозной погоде я въехал в Париж, где наш посол при французском дворе представил меня мадам дофине Марии Антуанетте. Дочь великой императрицы (Ее Величество Марию Терезию имел счастье знать мой отец) оказала мне воистину самый благосклонный прием. Мне тогда исполнилось 19 лет (я родился 4 сентября 1755 года), как и Ее Высочеству (дофина родилась 2 ноября). Я был поражен [далее старательно зачеркнуто] любезностью и красотой будущей королевы Франции.

30 января [подчеркнуто]. Бал в Опера. Высокая красавица, именующая себя принцессой Владимирской, дочерью покойной русской императрицы Елизаветы от некоего тайного брака, сделала много незаслуженных комплиментов моей внешности. Когда же наконец она покинула меня, ко мне приблизилось восхитительное домино небольшого роста, весьма грациозное. Когда маска заговорила, нежный тембр ее голоса [далее зачеркнуто]. Ее разговор был исполнен благородства и изящества.

Нашу беседу прервало появление фрейлин – мадам де Л. и мадемуазель К. И тогда домино со смехом сняла маску, а я тотчас склонился в самом почтительном поклоне. При том, видимо, был так растерян, что мадам дофина (это была Она!) много смеялась.

15 февраля. Бал в Версале, где Она (подойдя ко мне!!!) оказала великую честь – вновь заговорила со мной.

12 мая. Покинул Париж при весеннем, теплом дожде...

16 августа 1778 года. Я вновь приехал в Париж. Осень стояла очень теплая, хотя уже было много опавших листьев. Его величество Людовик Пятнадцатый умер, и Она стала королевой.

Наш новый посол представил меня королевской чете.

Смел ли я надеяться, что меня помнят?! Я попросил посла представить меня, как если бы я был в Париже впервые. Но доброта Ее не знала границ. Она узнала меня!!! И сразу сказала: «А, это наш старый знакомый!» Я совершенно потерялся и дал повод госпоже де Л. пошутить: «Какая мужественная внешность и какая детская застенчивость».

И в дальнейшем Она не забывала оказывать мне знаки доброго внимания.

8 сентября я посмел сообщить отцу: «Она – самая красивая и самая любезная из государынь, каких я знал».

Помню, отец справедливо ответил мне, что я знаю весьма мало государынь.

А точнее – одну...

18 ноября. В тот день Она была сама любезность. Госпожа Полиньяк рассказала Ей о моей шведской военной форме, которая произвела столь забавный фурор на балу у графини де Брион.

Она изъявила желание видеть меня в этом костюме.

19 ноября я надел белый мундир, голубой камзол, замшевые штаны с шелковыми оборками и золотой пояс со шпагой с золотым эфесом.

А на следующий день я получил анонимное послание, повергшее меня в печальную задумчивость: «Этот стройный, прекрасно сложенный молодой человек с глубоким мягким взглядом уже завладел ее сердцем, что не удивительно. Наша венценосная кокетка не может не взять все самое роскошное, самое яркое».

21 ноября на балу в Версале я танцевал с графиней де Сен-Пре. Она и рассказала мне тогда [далее зачеркнуто]. Помню, я только ответил в сердцах: «Как злы здесь люди».

Декабрь. Весь месяц я был зван на вечеринки, которые устраивали Она и Ее неразлучные подруги герцогиня де Ламбаль и Жюли Полиньяк в божественном Трианоне. Я наслаждался красотой Трианона и Ее вкусом. Миниатюрный дворец, миниатюрные озера, миниатюрный театр, миниатюрная мебель... И Она сама – маленькая Антуанетта – так гармонична, соразмерна игрушечному дворцу. Совершенство и красота здесь царили во всем – от сочетания деревьев до бронзовых дверных ручек, куда столь изящно были вплетены буквы Ее имени. Она «спасалась здесь» (Ее слова!) от чрезмерной грандиозности Версаля, от тысяч слуг, от неумолимости этикета.

«Здесь я сбрасываю корону, здесь нет постоянной французской напыщенности, нет колоколов (есть колокольчик), здесь я могу принимать кого хочу. Здесь, наконец, я имею право на *мою* жизнь», – сказала мне Она 12 декабря, любуясь маленькой фарфоровой собачкой – детским подарком ее матери.

Графиня де Сен-Пре пересказала мне тогда с плохо скрытым осуждением (как и все прелестницы при дворе, она не могла простить Ей ослепительной красоты) слова Ее брата. Оказывается, когда император Иосиф гостил в Версале, он был поражен: ни Она, ни король не проявляли внимания к знаменитым французским философам. «О них с восторгом говорит весь мир. Почему же французская королевская семья не собирает у себя философских салонов? Ничто так не развивает ум, как споры о вещах, которые еще не приобрели ясных очертаний...»

Я тотчас (13 декабря) посмел пересказать Ей эту сплетню. Она, смеясь, передала мне свой ответ любимому брату: «Как только разговор принимает столь чтимый Вашим Величеством характер, то немедля действует на меня, как самое лучшее снотворное». Из всех перечисленных тогда братом европейских знаменитостей Она, по Ее словам, с удовольствием принимает только некоего Бомарше, часовщика и сочинителя пьес. Его пьесу Она решила поставить (сама!) в придворном театре Трианона.

20 февраля. В этот день Она пела куплеты. Потом все отправились гулять. И мы остались вдвоем – на целых четырнадцать минут! Дозорный, стоявший на миниатюрной башне, затрубил в рог. Этот условный знак всегда сообщал нам о приближении короля. Рог прервал и общее веселье, и нашу встречу.

25 февраля. Этот Бомарше (о котором говорили много нелестного) два часа играл на арфе. Она могла часами слушать музыку. А потом Она пела... О чувствительная душа!

1 апреля меня в первый раз позвали в театр. (Она: «Я не хочу, чтобы вы приходили! Я буду волноваться! Но коли вы настаиваете...» – «Могу ли я, смею ли я настаивать?!») Но я понял: Она хочет, чтобы я там был!)

Она играла в тот день прачку в английской пьесе и была восхитительна в белом чепце. Когда Ей предложили сыграть роль королевы в той же пьесе, Она сказала: «Довольно и того, что я играю эту нудную роль в жизни».

Во время представления, помнится, король освистал своего брата графа д'Артуа, который путался в тексте. Но Она... Как Она была грациозна! И как прекрасна!

После спектакля был устроен фейерверк в Английском саду. На деревья повесили стеклянные сосуды разных цветов со свечами. Они горели, и сад переливался в их свете, как драгоценность... Она всегда была неистощима в изобретении развлечений.

3 апреля 1779 года. Я удивился – как пролетело время. Оказалось, я гостил в Париже восемь месяцев! И вот наступил самый несчастный день в моей жизни – меня позвал к себе наш посол. Он рассказал про сплетни двора и показал озабоченное письмо нашего доброго короля Густава.

Я ответил, что никогда не прощу себе, если брошу хоть легкую тень на королеву. Но посол сказал, что это уже *свершилось*. «О Боже!» – только и прошептал я.

Он спросил, что я намерен делать. Я сгоряча ответил, что единственное надежное средство заставить замолчать злые языки – удалиться. Прочь из Версаля, Парижа, Франции! Я так надеялся, что он отвергнет мой план, но он горячо его одобрил. Добрый посол справедливо заметил: «Чтобы не вызвать злобных пересудов, нужно найти достаточно естественный и правдоподобный мотив для отъезда». И тут мне пришла в голову мысль: я объявил, что уезжаю воевать в Америку. Посол радостно сказал, что тотчас успокоит нашего короля письмом.

5 апреля. В этот день посол показал мне свое письмо королю. Я переписал его: «Я должен согласиться с Вашим Величеством: юный граф Ф. имел столь теплый прием у королевы, что это внушило *необоснованные* подозрения. Хотя не могу не признать, что привязанность королевы к графу имела признаки слишком явные, чтобы сомневаться. Я сам тому был свидетелем. (О лукавый дипломат!) Но молодой граф повел себя достойно в этой ситуации: его скромность, сдержанность и, наконец, его вчерашнее решение отплыть в Америку делают ему честь. Уезжая, он устраняет ненужные сплетни и, главное – ту напряженность, которая возникала между нашими дворами. Нужно иметь твердость не по возрасту, чтобы преодолеть этот соблазн – остаться. Я присутствовал вчера на балу, когда королева узнала о его решении и была не в силах оторвать от него глаз, умоляющих и полных слез. В остальном же королева держит себя сдержанно и благоразумно. Король продолжает охотиться в свое удовольствие».

Я потребовал, чтобы было вычеркнуто все о Ней. Он обещал и даже дописал по моей просьбе: «Я не смею умолять Ваше Величество сохранить все это в секрете».

Впоследствии в Стокгольме король милостиво показал мне письмо посла (оказалось, там ничего не было ни вычеркнуто, ни дописано!).

26 апреля. Узнав о моем отъезде, графиня де Сен-Пре сказала мне: «Мсье безумец, неужели вы отказываетесь от своего трофея?» Я, конечно же, сдержался, не смея ответить дерзостью даме, и заставил себя высказаться в парижском духе: «Если бы трофей мог быть моим, поверьте, я бы не отказался. Но я уезжаю таким же свободным, как и приехал. И без сожаления».

В тот же день посол показал мне письмо нашего доброго короля: «Мы восхищаемся античными героями, принешими свою любовь в жертву долгу, и не видим рядом с собой

современников, пожертвовавших не менее высоким чувством и расставшихся *invitus invita*⁴, но по велению долга».

Вечером Она пела арию Дидоны. Ее глаза были полны слез, голос дрожал, лицо покраснело от рыданий. Я сидел, не смея поднять глаз, слова арии заставляли биться мое несчастное сердце. «Вы так бледны, мне кажется, вы сейчас упадете в обморок, – шепнула мне графиня де Сен-Пре. – О, как бы я хотела вас утешить... Бедное сердце!»

В ту ночь я решился позволить графине утешить меня, чтобы не лишиться себя жизни. В постели на мой озабоченный вопрос о графе де Сен-Пре графиня, смеясь, сказала, что его не будет до завтра, ибо он, в свою очередь, утешает герцогиню Ш., которую бросил любовник. (О нечестивый Вавилон!) После греха я много плакал, а графиня много смеялась надо мной. Она попыталась рассказывать недопустимое о Ней и графе Т., но я умолил ее замолчать.

Утром я уехал в Гавр, где получил письмо от графини, посланное с нарочным. Графиня писала, что «после моего отъезда Она закрылась в своем кабинете и не выходила до позднего вечера».

И я сказал себе: «Терпи, мое сердце!»

Америка. 19 декабря 1781 года!!! Ставлю три восклицательных знака, ибо в тот день я получил первое восхитительное письмо от *Жозефины* (так Она подписывает свои письма).

22 октября Она родила дофина. И шутливо описала в письме всю историю. (Как жаль! Это письмо погибло в 1783 году во время возвращения во Францию, когда буря в щепки разнесла мою каюту. Погибли и индейские томагавки, и прочее.)

Она писала, что, как только начались первые схватки, принцы и принцессы крови расположились в комнате, где находилась «родильная кровать», ибо при французском дворе, согласно этикету, они должны присутствовать при родах. У подножья кровати, как положено, уселся в ожидании министр юстиции. Все приготовились к зрелищу. Но Она сумела обмануть глупые нравы двора, Она сказала, что тревога преждевременна и симптомы ложные. И когда все покинули комнату, она позвала свою подругу госпожу де Ламбаль и объявила ей правду. Схватки усилились, и в четверть второго Она родила мальчика. Министр юстиции, которого одного позвали к Ее ложу, торжественно объявил пол ребенка. Наконец-то Она исполнила предназначение – подарила Франции наследника. Я счастлив за Нее.

9 сентября 1783 года. Помню, я въехал в Париж под проливным дождем. Я снова был при дворе. Окончились четыре года добровольного изгнания, я заслужил право вновь видеть ту, чей образ помог мне пережить три года приключений и две опасные раны (я был на краю смерти).

15 сентября. В этот день за боевые заслуги в Америке (где я славно рубился с англичанами) меня наградили орденом Шпаги. Но я беспокоился – не станут ли эти почести и благосклонность доброй королевы поводом для возбуждения слухов, которые я пытался остановить разлукой и кровью? Чтобы избежать *необоснованных* подозрений, я решился возобновить роман с графиней де Сен-Пре. Но она вздумала ревновать меня к Ней! И пришлось завести роман с покладистой крошкой Люси де Грамон (она тогда была в большой моде при дворе).

Но вся моя жизнь была ожиданием. Я жил только тогда, когда меня звала Она, когда были «божественные вечера в божественном Трианоне»...

1 декабря. Отец, прослышав о моей жизни, прислал письмо. Он пожелал, чтобы я вернулся в Стокгольм, женился, продолжил наш славный род. Я не мог объяснить ему, что никогда не женюсь, ибо бедное мое сердце уже обручено... [Зачеркнуто.] Но чтобы не огорчать его, объявил, что не могу покинуть Париж, ибо надумал жениться на самой завидной невесте Европы – мадемуазель Неккер, дочери великого богача и великого министра. В то время

⁴ Против воли.

так много самых блестящих юношей претендовало на ее руку, что я счел совершенно безопасным присоединиться к списку кандидатов. Но неожиданный успех у мадемуазель Неккер (которой в будущем предстояло стать прославленной мадам де Сталь) заставил меня поспешно ретироваться с поля сражения, которое грозило мне победой. Утром я... [Зачеркнуто.] Она одобрила.

Июнь... Это было самое счастливое лето в моей жизни. Я присутствовал на всех интимных обедах в Трианоне и сопровождал Ее на все балы в Опера. Какие странные были тогда маскарады и балы в Париже! Даже танцуя, здесь говорили о политике.

Например, 20 июня на маскараде я услышал рядом знакомый голос: «В каждом уголке нашего королевства уже полыхает огонь. И скоро он спалит Париж!» Я узнал говорящего – это был герцог Орлеанский, принц крови и ненавистник королевской семьи, и главное – Ее ненавистник. Но король, увы, покорно терпел его едкие остроты и тайную деятельность, о которой знали все. И я сказал себе: «Что-то будет...»

Когда я рассказал Ей об этом, Она пожала плечами и забыла.

13 августа. Накануне представления «Севильского цирюльника» в Трианоне. День этот (как потом оказалось) был воистину роковым. Но Она и не подозревала...

Все случилось в Ее любимом миниатюрном театре – мраморном с золотом. Она участвовала в представлении пьесы этого подозрительного сочинителя Бомарше, играла бедную девушку по имени Розина.

Я осмелился сказать Ей, что в пьесе многие реплики двусмысленны (как и репутация этого господина).

Но Ей так хотелось надеть «очаровательное и такое простенькое» платье, которое для представления сшила Ее модистка мадам Бертен!

И в ту же ночь открылась грязная, но удивительно искусная *интрига*.

Она еще была в «очаровательном платье простушки Розины», когда за кулисами появились два самых известных ювелира в Париже (мсье Л. и мсье К.). Они утверждали, что Его Преосвященство кардинал де Роган приобрел для Нее бриллиантовое ожерелье – будто бы по Ее просьбе.

Она тотчас поняла, что кто-то воспользовался Ее именем и обманул известного глупца Рогана. В дальнейшем оказалось, что некая Ла Мотт уверила кардинала, будто она – ближайшая подруга Антуанетты. Роган, как и все здесь, был влюблен в Нее... Ла Мотт показывала глупцу письма, которые будто бы писала ей Она, и дерзостно обещала, к восторгу безумца, сделать его любовником королевы. Но для начала предложила оказать услугу – выкупить (будто бы по Ее просьбе) самое дорогое в мире ожерелье. Я слышал, что покойный король заказал его для мадам Дюбарри.

И дальше интрига развивалась *удивительно*. Сейчас я добавил бы – *удивительно похоже* на другую пьесу господина Бомарше с названием «Женитьба Фигаро».

Ла Мотт предложила кардиналу свидание с королевой – ночью, в Версальском парке, в роще Канделябров. Это скрытый среди деревьев очаровательный зеленый амфитеатр с огромными бронзовыми канделябрами и крохотными фонтанами, окружающими площадку для танцев.

Вместо Нее на свидание к Рогану пришла некто в маске, безумно похожая на Нее (то ли модистка, то ли шлюха), которая не только многое обещала, но и многое позволила кардиналу во тьме ночи...

Когда Она поняла всю интригу... я никогда не видел ее в таком гневе. Она то задыхалась, то заливалась истерическим смехом, представляя свидание кардинала, то опять впадала в бешеный гнев, вспоминая, на что посмел рассчитывать наглец.

Наконец Она позвала короля и потребовала немедленного ареста и суда над кардиналом. Король умолял Ее не делать этого. И я потом на коленях молил Ее одуматься. Но когда Она чего-то желала...

Вечером после спектакля Она преспокойно отужинала с этим проклятым Бомарше, а наутро кардинала арестовали, когда он шел служить мессу.

И началось то, что было так легко предсказать. Его родственники Роганы и Субизы – древняя, могущественнейшая знать Франции – встали на дыбы. Их клеветы засыпали Париж грязными памфлетами, где писали, что королева попросту «испугалась разоблачений», что Ла Мотт «на самом деле действовала по приказу королевы». Десятки пасквилей о Ее мифических любовниках передавались из рук в руки. И вся эта грязь о королеве Франции вылилась на страну.

Именно тогда мне окончательно показалось, что все это было *кем-то придумано* – кем-то, кто хорошо изучил ее характер. Это была западня...

И вот теперь, через много лет после случившегося, из полученного мною письма маркиза де С. я узнал правду. И потому еду в Париж – отомстить!

Однако возвращаюсь к изложению событий, последовавших за грязным делом об ожерелье, – к истории моей жизни.

1789—1791 годы. В дни взятия Бастилии и последующих беспорядков я метался между Стокгольмом, куда призвал меня служить мой король, и тонувшим в смуте Парижем, куда звала меня...

28 октября 1791 года. Я был в Стокгольме, когда прискакал гонец из Парижа и сообщил, что, по слухам, голодные толпы готовятся идти на Версаль.

Я все бросил и поскакал во Францию. Загнал в пути нескольких лошадей и прибыл в Версаль при дождливой холодной погоде.

Как опустел «божественный Трианон»! Каждую ночь, грохоча по булыжнику, уезжали кареты. Кареты Ее врагов-придворных и Ее друзей... Вчерашние «наши» во тьме, не прощаясь, спешили покинуть опасный дворец и своих владык. И холодный осенний ветер всю ночь рвал листья с деревьев.

Я приехал вовремя. Именно в эти дни чья-то рука (думаю, рука в перстнях – в заговоре участвовали принцы крови) ударила в барабан. И шесть тысяч «библейских Юдифей» (так они сами себя называли), шесть тысяч голодных женщин с пиками, взятыми из дворца герцога Орлеанского, пошли походом на Версаль.

В тот день с утра шел все тот же ледяной дождь. Они шли ко дворцу, задрав юбки и покрыв ими голову от дождя. Это был галантный поход.

Правда, под юбками у многих «дам» оказались весьма волосатые ноги (в этой толпе было много переодетых мужчин). Но все было безукоризненно срепетировано и точно рассчитано: не мог же французский король и его солдаты, с молоком матери всосавшие: «женщину можно ударить, но только цветком», решиться стрелять в женщин. И толпа беспрепятственно вошла в Версаль.

Я наблюдал встречу короля с посланцами разгневанных голодных парижанок. Король был так галантен, а восторг удостоенных аудиенции рыбных торговек был столь пламенным, что одна даже упала в обморок. Дамам было обещано, что мука из подвалов Версаля с утра отправится в Париж.

Меж тем наступила ночь. И все спокойно уснули.

Но отцы похода (те, кто оставался в Париже) приготовили продолжение...

Пока во дворце мирно почивали, через тайные ходы, которые никто не мог знать, кроме принцев крови, толпа бунтовщиков проникла во дворец. И посреди ночи топот сотен ног разбудил Версаль.

Толпа негодяев бросилась к Ее покоям. Два гвардейца пытались преградить им путь с криком: «Спасайте королеву!» Но совсем не женские руки разом отрубили им головы. Потом я узнал, что Она спаслась, бежав полураздетая через потайной ход в покои короля.

Но утром Ее ждало самое страшное и самое для Нее необычное – публичное унижение. Чернь, заполнившая двор, орала, требовала, чтобы Она вышла на балкон. Я видел, как головы обоих несчастных гвардейцев качались на пиках над вопящей, проклинавшей Ее толпой.

Изменник трону, командир национальной гвардии маркиз Лафайет, сказал Ей, что единственный выход – выйти на балкон с наследником к орущей непотребные ругательства черни. Ей предложили совершить то, что Она презирала всей душой: заискивать перед грязной толпой торговков и переодетых негодяев... Мы обменялись взглядами. В моем Она прочла [зачеркнуто]...

Она вышла. И полетели камни – на балкон, в Нее! Я не мог сдерживаться более, я решил броситься на балкон, хотя понимал, что погублю и себя, и Ее.

Но в тот миг изменник Лафайет (надо отдать ему должное) спас всех: он сделал, пожалуй, единственный жест, могущий спасти положение. Галантный жест – он склонился в изящнейшем поклоне и поцеловал руку королевы.

Вот тогда-то они наконец вспомнили, что перед ними прежде всего красивая женщина (ибо, как я уже отмечал, в толпе было много мужчин). И они закричали то, что и должны кричать французы при виде Прекрасной Дамы: «Да здравствует королева!» Думаю, Она в последний раз слышала эти слова...

Впрочем, через мгновение они уже грозно орала: «Короля и австриячку – в Париж!»

А потом их везли в Париж, и я следовал на лошади рядом с Ее каретой. И мы [зачеркнуто]... Они очутились в заброшенном со времен «короля-солнца» дворце Тюильри. Так они стали пленниками толпы. Она от унижения [зачеркнуто]...

Несколько слов о короле. Благородный и очень замкнутый человек, который долго не мог выполнять супружеские [зачеркнуто]... Он был болен неким предчувствием. Однажды он прямо сказал Ей, что с ним непременно случится великая беда. И поэтому, когда все началось, он с редкостным равнодушием наблюдал крушение своей власти. Она же вдруг совершенно преобразилась, Она начала борьбу. Я не ожидал от Нее этого...

Она жила, как в лихорадке, писала бесконечные секретные письма европейским монархам. Эти безуспешные зовы о помощи отправлялись из Тюильри через мои руки. И я доставлял их государям. Экипаж, повозка или просто конь... такова была в те дни моя жизнь.

Именно тогда, после многих моих просьб, Она решилась на побег. Я поклялся ей, что они благополучно покинут Париж и достигнут границы.

Светает. У меня нет времени излагать всю историю, тем более что я до сих пор не знаю, что случилось. Ведь все было отрететировано до мелочей! Все было продумано!

К сожалению, король решил везти в одной карете всю семью. Более того, выяснилось, что он хочет взять и свою сестру. И еще: он не может не взять в карету воспитательницу детей герцогиню де Турзель, ибо, согласно этикету, она не может расставаться с детьми Франции. Короче, нужен был какой-то огромный дилижанс. И я достал такой. Но во Франции кареты так красивы и так непрочны, что я сам решил все проверить.

15 июня. И вот тогда – случилось! На Версальской дороге громяющая огромная карета на полном скаку чуть было не врезалась в экипаж герцога Орлеанского, врага, предавшего своего короля, и кумира (столь недолгого!) парижской черни.

Герцог узнал меня и закричал:

«Вы с ума сошли, мой дорогой граф? Вы свернете себе шею! – Он засмеялся. – Почему-то молодые люди совсем не думают о своей шее!» (Черт любит шутить! Вспомнил ли герцог свою шутку, когда нож гильотины при радостных криках вчера боготворившей его толпы опустился на его шею?!)

«Просто не хочу, чтобы моя карета развалилась в дороге, – ответил я, – а это часто бывает с французскими экипажами. Вот и решил испробовать ее в деле».

«Но зачем вам такая огромная карета? В нее, пожалуй, поместится весь хор Опера».

«Ну уж нет, монсеньор, этих дам я оставляю вам. А в карете будет все мое имущество. Я навсегда покидаю Францию».

«И вы бежите? – сказал герцог насмешливо. – Тогда прощайте, счастливого пути!»

Мне показалось, что он не поверил! И теперь, по прошествии стольких лет, эпизод этот не выходит у меня из головы. Хотя потом все шло так удачно...

16 июня. Шевалье де Мустье, участвующий в побеге, ухитрился проникнуть в Тюильри. Он рассказал мне, что сегодня передал Ей одежду служанки.

Все делалось в строжайшем секрете.

Утром 17 июня русская баронесса Корф, давшая деньги на побег, принесла мне свой заграничный паспорт. История с ее паспортом – моя выдумка. Сначала госпожа Корф сообщила властям, что решила покинуть Париж. Получив паспорт, баронесса написала русскому послу, что случилось несчастье: она собиралась в дорогу, бросала ненужные бумаги в камин и случайно бросила туда и паспорт. Посол тотчас выхлопотал ей дубликат. С ним баронесса и отбыла из Парижа.

По подлинному ее паспорту должна была выехать королевская семья.

18 июня. Шевалье де Мустье в очередной раз совершил чудо – проник в Тюильри, который день и ночь охраняется национальной гвардией. Оказалось, он знает тайный ход. Этим же ходом он провел и меня. Я оставался с Нею три часа и сорок минут.

Я передал Ей «утерянный» паспорт баронессы Корф с разрешением покинуть Париж. Мадам де Турзель должна будет изображать саму баронессу Корф, Она – воспитательницу ее детей, а король – дворецкого баронессы.

Я хотел сопровождать их до границы, но Она объяснила: король не захочет этого.

Взволнованная приближением отъезда, боясь за детей (да и за себя), Она много плакала. И слезы Ее разрывали мне сердце. Король, как обычно, был спокоен, даже апатичен и слушал мои инструкции весьма рассеянно. В последний раз условились о месте и времени встречи, порядке отъезда. Все казалось так ясно...

И все же, несмотря на принятые меры, надо было думать о возможности провала. Было решено, что вслед за ними я покину Париж, отправлюсь в Брюссель, и коли их задержат – начну тут же хлопотать об их освобождении перед другими государями.

Час отъезда приближался. В 6 часов я покинул дворец. «Мсье Ферзен, что бы ни случилось, я не забуду, что вы сделали для меня», – сказал король на прощание.

20 июня. После встречи с герцогом мне казалось, что за мной следят. И оттого весь последний день перед побегом я провел, отвлекая подозрения: в полдень отправился к шведскому послу, потом был на заседании Национального Собрания, где дискутировался весьма насущный вопрос об уничтожении бесправного положения палачей (об этом пожаловался в длинном письме главный палач города Парижа мсье Сансон).

Ночью в одежде кучера я ждал их в карете.

Шевалье де Мустье вывел их из дворца.

Я правил каретой с беглецами вплоть до заставы в Бонди.

По дороге де Мустье рассказал мне удивительные подробности. Оказалось, многое в эти дни придумал мсье Казот. И это он нашел тайный ход... [далее зачеркнуто и вырвана целая страница].

В Бонди я слез. Мы простились. Я долго смотрел вслед карете, уносившейся в неизвестность.

Разлука обещала быть кратковременной. Успех казался достигнутым. В Париже их могли хватить только утром, когда они должны были быть уже далеко.

22 июня, 6 часов утра. Написал отцу уже из Монса: «Я здесь проездом. Король со всей семьей удачно покинул Париж 20-го в полночь. Я проводил их до первого блокпоста. Даст Бог, и оставшаяся часть пути будет удачной. Я продолжу свой путь вдоль границы, чтобы присоединиться к королю в Монмеди».

Но в тот час, когда я еще надеялся на удачу, все уже было кончено.

25 июня 1791 года. День, когда я узнал, что все погибло. Их схватили!

21 апреля 1799 года. Рассвет. Теперь, через 8 лет, я знаю, кто был в начале Ее несчастий.

Я уезжаю в Париж. Господи, не смею просить о помощи в мести, но должен отомстить. Она бы одобрила? Или нет? Но иначе я не смогу жить далее...

И я увидел...

Полная луна над черепичными крышами. Зеркальная стена комнаты раздвинулась, и показалась Она, опираясь на руку злодея. На лице Ее была та, особая – хмельная радость. И глаза были опущены. Я знал, когда они так блестят... Ее бедное, чувственное сердце... И когда я шагнул из кустов, Она увидела мое жалкое, побледневшее лицо... что-то сказала злодею. И Бомарше церемонно, изящно, как умеют это делать только при французском дворе, раскланялся и пошел прочь по аллее.

Ее нежный смех... И мой голос: «Я ревную вас ко всему... к деревьям, к этой луне, к вашему смеху. Простите меня».

Теперь Она опиралась на мою руку, я чувствовал удары Ее сердца.

Сад был в вечернем тумане. Мы долго шли молча. Наконец показалась голландская деревушка, построенная для Ее забав. Домики выступали из тумана, и, медленно поворачиваясь, являлось из белого дыма мельничное колесо. Скрип колеса, плеск реки... и всюду висел, стелился белый туман. Караульный на дозорной вышке дремал над облаком тумана.

И вдруг туман рассеялся. В просвете облаков показалась огромная желтая луна. И эфес моей шпаги поймал ее свет.

Она чуть пожала мою руку, легонько потянула... и мы вошли в прохладную тьму маленького домика.

«Осторожнее, лестница», – сказала Она шепотом. Заскрипели ступени – Она поднималась вверх, в спальню. И все мучило, все казалось предназначенным другому... Я украл Ее страсть к другому!

А потом лицо... губы... запах волос, упавших на мое лицо... И я все забыл...

Смерть. Страсть. Как смерть.

Это сон... Я записал свой сон – не более! Слуга тихонечко тронул меня за плечо. Теперь я проснулся. Время ехать.

Треуголка, плащ, черная наклеенная бородка... Улицы пусты, рассвет. Я покидаю Вену. Вернусь ли? Это знает один Господь.

На самой границе меня ждал проводник со свежей лошадью. В ночь на 28 апреля 1799 года я благополучно пересек границу мятежной Франции.

2 мая с великими предосторожностями я въехал в Париж при ясной теплой погоде. Я поселился у Люси, своей давней подруги, приемной дочери несчастной герцогини де Грамон, гильотинированной в дни революции. Мы не виделись восемь лет. Люси рассказала

мне, что после неудачного побега королевской семьи она чуть не поплатилась жизнью. Кто-то донес о нашей связи, ее арестовали.

В дни террора она ждала смерти в одной камере с Жозефиной, женой гильотинированного генерала Богарне. Гибель Робеспьера спасла обоих. Креолка Жозефина стала женой другого генерала, о котором наслышана нынче вся Европа. Так что у Люси, близкой подруги жены могущественнейшего генерала Буонапарте, я могу чувствовать себя в безопасности. Я ей благодарен.

Ночью она пришла ко мне. Я закрыл глаза. Я не хотел видеть чужое тело. У всех у них – чужое тело...

Я слушал счастливые стоны Люси. Я понял, что мертв. После Ее смерти я мертв, но зачем-то жив...

Потом «птичка Люси» (как звали ее при исчезнувшем дворе) без устали болтала в темноте. Этот самый Буонапарте воевал в Египте, и Люси рассказывала о веселых любовных приключениях подруги-креолки в отсутствие героя-мужа.

Все ужасы революции не смогли изменить этот жалкий легкомысленный народ.
Ненавистный мне народ...»

В «тот день» Бомарше, как всегда, писал пьесу *Досье гражданина Фуше*

4 мая 1799 года гражданин Фуше, находившийся в Гааге с дипломатическим поручением, был отозван в Париж по решению Директории. Как он и полагал, его вызвали, чтобы предложить желанную должность. Предложение это было итогом неумолимых интриг, которые вел из Гааги гражданин Фуше. И еще целого состояния, которое он истратил на подкуп Директоров. И вот – свершилось! Вчерашнему неукротимому революционеру Фуше предложили стать министром полиции в правительстве Директории, покончившем с революцией.

О назначении решено было объявить через пару недель. А пока гражданин Фуше знакомился в Париже с новыми обязанностями. И тайно исполнял их. И готовил Париж к удивительной новости.

В квартире царил беспорядок. Гражданин Фуше в черном сюртуке сидел среди множества неразобранных саквояжей и задумчиво беседовал с немолодым человеком в точно таком же черном сюртуке.

Собеседник заботливо сообщал гражданину Фуше все подозрительные новости Парижа. В конце беседы упомянул об апрельском аукционе мебели из дворца Трианон, принадлежавшей казненной королевской семье. Так Фуше узнал, что мадам Жозефина через две недели после аукциона вдруг запоздало и страстно заинтересовалась королевской мебелью – двумя маленькими стульчиками Марии Антуанетты, которые, к крайнему сожалению жены генерала Бонапарта, купил на этом аукционе гражданин Бомарше.

Это сообщение неожиданно для собеседника погрузило Фуше в глубокую задумчивость, после чего он и поручил черному сюртуку «произвести ряд необходимых следственных действий».

И когда черный сюртук покинул его дом, гражданин Фуше сел за бюро, чтобы внести некоторые добавления в свое досье о генерале Бонапарте.

Ночь на 17 мая 1799 года (28 флореаля 7 года республики). «Тот день» наступал.

Безлунная ночь. Горели фонари. Шел второй час ночи, но даже здесь, на окраине, в Сент-Антуанском предместье, Париж привычно не спал.

Площадь, где некогда громоздились высокие стены Бастилии, была теперь пуста. Только жалкие кофейни ютились на месте грозных башен, и подвыпившая компания горлавила на лысой площади песни.

Среди строений, окружавших площадь, высился его дом. Он стоял за высокой стеной в глубине окружавшего его парка. Теперь, когда громада Бастилии исчезла, дом казался вызывающе огромным. Странно изогнутый по фасаду, со множеством окон, обращенных в пустоту площади, дом был погружен во мрак.

Высокий господин с косицей, поигрывая тростью, вышел из ворот. Он был немолод и тучен и оттого особенно ценил пешие прогулки. Но час был поздний, к тому же под вечер на город обрушился майский ливень. Антрацитовая жижа – осколки от колес экипажей, отходы кухонь, выбрасывавшиеся прямо на мостовую, – вся эта парижская несмываемая грязь, разьедающая обувь и платье, разлилась по площади. И перейти через вонючие лужи, не замаравшись по колено, не было никакой возможности.

Да и небезопасно прогуливаться в этот час. Фонари после революции – дефицит (толпа обожает крушить их – и еще памятники). И теперь здесь, на окраине, в наспех восстановленных фонарях горели дешевые сальные свечи, легко задуваемые ветром. Их слабый колеблющийся свет дурно освещал улицу... Нет, два часа ночи – плохое время для прогулок. Особенно если на твоей трости золотой набалдашник, а на пальце – крупный бриллиант.

И вместо прогулки Бомарше решил воспользоваться каретой, ждавшей его у ворот.

Экипаж катил по Парижу. Силуэты домов... Силуэты гигантских полениц с дровами для топок бесчисленных печей... В пирамидах из дров, величиной с добрый дом, прятались бездомные.

Дома высились над древними каменоломнями, этими черными безднами, на которых стоит Париж. В сыром воздухе ночи – смрад от реки. Сточные трубы льют нечистоты прямо в Сену.

Поздний час, но чем ближе к Тюильри, тем больше карет. Вечный город вечно бодрствовал.

Все, как до революции! Экипажи пересекали путь друг другу, обдавая грязью редких пешеходов. И внутри раззолоченной кареты (в такой прежде сживал принц крови) сквозь сверкающие стекла видна была жирная морда вчерашнего лакея, сделавшего состояние в дни революции.

И рядом с этим разбогатевшим, размордевшим Фигаро – голые плечи красавицы. И так же грозят смертью и увечьем прохожим колеса экипажа – богачи во все времена не замедляют ход своих карет.

Как хороша была женщина в экипаже, пронесшемся мимо его жалкой кареты! Как хороши эти легкие новые прически! Он вспомнил гигантские многоярусные сооружения на красавицах своего времени. На самом деле в них вплеталась масса чужих волос, часто снятых с мертвецов, а под ними таились кожаные подушки, набитые конским волосом, лес шпилек, помада, пудра, духи... В их первую брачную ночь его немолодая жена заботливо укутала тканью это сооружение, стоившее уйму хлопот и денег, отчего ее голова стала еще огромней и безобразней.

Около моста Пон-Неф экипаж остановился.

В свете фонаря угрюмо возвышалась статуя Генриха Четвертого. Нищий, спавший прямо у статуи, при виде господина, ступившего на мост, начал просить милостыню во имя Пресвятой Девы и короля Генриха. Это сочетание позабавило господина, и он подал нищему.

Древний мост всегда имел недобрую славу – здесь промышляли самые известные воры. Здесь когда-то опасный шутник и распутник герцог Гастон Орлеанский придумал себе забаву: переодетый, он срывал плащи с ночных прохожих.

До революции здесь обосновались королевские вербовщики солдат и потаскухи. Они работали в деловом содружестве – девицы заманивали юношу в кабак, потом в постель. И после утех, когда юноша не мог расплатиться за ночь и за вино, несчастному приходилось продавать вербовщикам свою свободу.

Теперь вербовщики исчезли, но девицы остались. Они пережили все революционные запреты и стали полновластными хозяйками ночного моста. Сейчас они толпились у палаток с фруктами. Появление господина вызвало у них большое оживление. Они тотчас выстроились в ряд, демонстрируя свои прелести.

Господин отозвал одну из них и задал странный вопрос: «Где найти королеву?»

Девица не удивилась, лишь пожала плечами, лениво усмехнувшись. Он вложил в ее руку ассигнацию. Девица собрала товарок и после короткого совещания принесла ответ.

Бомарше вернулся к карете и велел кучеру ехать к Люксембургскому саду.

Он искал женщину. Женщину, которую не видел добрых десять лет.

По дороге он думал о том, как славно было бы построить мост против аллеи Инвалидов, который соединил бы бульвары и предместье, Сент-Оноре – с Сен-Жермен. Так уж был устроен его мозг – он тотчас рождал великие предприятия.

Экипаж громыхал по запутанным улочкам Латинского квартала. У Сорбонны была ночная пустота. Завтра ее заполнит утренняя толпа учеников в черных сутанах... Он пом-

нил счастливые времена, когда «Комеди Франсэз» была в Латинском квартале. Здесь играли его первую пьесу, и дух Сорбонны тогда царил в зале. Теперь «Комеди» обитала в квартале богатых лавочников. Тупость и пошлость нуворишей властвуют теперь в партере.

Все, что было до революции, – как в другой жизни. Здесь, в Латинском квартале, он жил когда-то со второй женой. Он купил дом недалеко от имения принца Конде. Как он молод был тогда... Здесь он написал первую пьесу, принесшую ему настоящий успех.

Он проехал Люксембургский дворец, который в дни революции умудрились сделать тюрьмой, и экипаж углубился в лабиринт узких улочек.

Дома темнели закрытыми ставнями. Но одно окно, несмотря на холодный вечер, наступивший вслед за ливнем, было распахнуто. В гостиной собрались жестикулирующие люди, кто-то грел руки перед камином, загораживая тепло от остальных... Парижане – это странное скопище живых мертвецов, живущих в закупоренных гостиных при свечах. В голубом небе, в дневном свете, в зелени природы для них нет благородства. Они предпочитают дышать парижским воздухом: дымом несметного количества дров, гнилостными испарениями сточных канав, этих ручьев мочи и кала, частицами мышьяка и смолы, выделяемыми бесчисленными мастерскими. Зловонный тяжелый воздух, тлетворные испарения, смрадная грязь – удел добровольного заточения этих безумцев парижан...

Вечный Париж... как вечный Рим. Вечность... чтобы исчезнуть.

Исчез великий Рим, исчезли великие государства, исчезнет когда-нибудь и этот город. Взорвет ли его адский порох, который копят все больше и больше все государи мира? (Все это рассуждение можно было вставить в пьесу. Но теперь поздно, да и скучно.)

Приближаясь к ее дому, он начал волноваться. Он вспомнил ту ночь... Спасибо врачу Кондому, придумавшему безопасный футляр для его «проказника». Кто знал, какой шип ждал его на этой розе, которой до него наслаждалось столько мужчин!

Та ночь... Нет, это не было обычное безумие, страсть нового тела. Бесконечный лабиринт новых тел, новых вздохов, новых восторгов... таких старых вздохов и старых восторгов. Лабиринт, в конце которого простирает свои объятия Смерть.

Нет, та история была иной...

И он с усмешкой вспомнил строчки письма к ней – к Прекрасной шлюхе (это письмо он считал удачным и впоследствии посылал подобное другим дамам).

«Ваша ножка, точеное колено... маленькая ступня, такая крохотная, что хочется взять ее в рот, а потом впиваться губами в губы и сойти от этого с ума... Я мечтал вчера: каким было бы счастьем, если бы я мог в охватившем меня бешенстве сожрать Вас живьем, не отрывать никогда своих губ от Ваших... чтобы кровь из моего сердца уходила в Ваше, чтобы Вы оказались внутри меня, и всем казалось, что я дремлю, а мы бы в это время любили друг друга... Женщина, верни безумцу душу, которую ты у него отняла...»

Прекрасная дуреха не понимала, что он ласкал ее и... *другую*. Он впивался губами в ее губы, но это были губы *другой*.

Его тайна...

Карета остановилась. Оказалось, он знал этот дом. В дни, когда он еще обитал в Латинском квартале, здесь жил забавный венецианец, развлекавший общество весьма рискованными любовными историями.

Он послал слугу наверх, и пока тот поднимался в ее квартиру, все вспоминал имя венецианца. Но обычно услужливая память так и не выдала ему этого имени. А потом в дверях показалась она...

Она совсем не изменилась. Ее лицо снова соединилось с лицом той, *другой*. Все стало, как раньше.

Только теперь *другой* не было на свете.

Она поцеловала его. Жаркие губы и холодные губы. Поцелуй свидания с той, мертвой. Поцелуй из смертной тени.

Она сидела рядом с ним, прижимаясь к нему. И шептала голосом *другой* – сводящим с ума голосом:

– Почему ты меня нашел? И как ты мог жить без меня? Старый греховодник, ужасное чудовище!

Она торопливо целовала его. И он опять терял голову. Ее рука... те самые любовные сумасбродства, о которых рассказывал венецианец!

– Поезжай медленнее, – услышал голос господина слуга на козлах.

Через добрых пару часов экипаж въехал на площадь, где стояла прежде Бастилия, и остановился у большого дома. Его дома.

Она расхохоталась:

– Надо же, Бастилия... Было, было и ни... – она грязно выругалась, – нет!

Парочка покинула карету – высокий тучный господин и женщина, старательно прятая свое лицо под черным капюшоном. Главная героиня пьесы, которую предстояло завтра (точнее, уже сегодня) разыграть.

17 мая 1799 года. Утро «того дня».

Она выпрыгнула из кровати и в темноте комнаты зажгла свечу.

Белое узкое тело *другой*. Она повернулась к нему лицом *другой*...

Помахав ему рукой, она исчезла за вишневою занавесью, висевшей на стене, где прежде был камин. И когда занавесь упала вслед за исчезнувшей женщиной, Бомарше почувствовал серый запах пыли. Занавесь давно не поднимали.

Бомарше спустил ноги с кровати, встал, отодвинул шторы. Предательский свет утра. Все голо, ясно. Ну-с, какова сегодня диспозиция этого проигранного уже при рождении сражения? Какие еще рубежи завоевала старость за прошедшую ночь? (Банальные цитаты, хлам удачных реплик. Неужели этим может быть забита голова в *последний* день?)

«Он позвонил в колокольчик. Вошел слуга».

Не так: «В открытой двери возник слуга с подносом. Гражданин Бомарше взял свою чашечку кофе».

– Ну, что ты молчишь?

– Вы запрещаете мне утром говорить. Утром вы думаете.

– Прекрасный ответ идиота! Ты – самый неудачный Фигаро в моей жизни. Ты даже выглядишь отвратительно. Тебя трудно описать. Ни одной особой черты – все аккуратное, сглаженное. Какой у тебя отвратительно маленький нос... как член китайца. Где он – длинный, прущий напролом галльский нос, которым на худой конец можно осчастливить женщину?

«Слуга безмолвствовал». Нет, точнее – «торжественно молчал».

– Ну и что он сказал, Фигаро?

– Настаивает, чтобы вы приняли его сегодня. Он приедет к вам в полдень.

– Хорошо. Принеси.

«Слуга молча вышел и тотчас вернулся с двумя шпагами и ящиком с пистолетами. Бомарше взял шпагу, поиграл – поласкал рукоять...»

Монолог Бомарше:

«Клинок повидал виды. Когда-то я проколол им соблазнитель сестры, а десять лет назад уложил им наемного убийцу – его подослал адвокатишка Бергас. Негодяй сначала оболгал меня, потом хотел убить. На пустынной улочке убийца поджидал меня. Я даже не увидел его лица, только услышал выстрел. Промах! И мой ловкий выпад – вот так! – и мерзавец

схватился за живот. Он смешно висел на шпаге – как на вертеле... или нет, как бабочка на иголке в моей коллекции. Я убил его первым же выпадом».

«Слуга все так же молча стоял в дверях».

– Еще чашечку кофе, Фигаро. Так сказать, на прощанье с утром.

(Не сказал – «с *последним*».) У тебя что-то еще?

– Приходил человек, которому вы заказали новый ошейник для Розины. Спрашивал, что писать на ошейнике.

– Запиши: «Меня зовут мадам Розина. Я принадлежу...» Нет: «Мне принадлежит гражданин Бомарше. Мы живем на бульваре...» Не очень... Может, к вечеру придумаю получше. Сгинь!

«Молчаливый негодяй удалился, должно быть, усмехаясь».

Бомарше подошел к зеркалу. В зеркале – портрет финала: шестьдесят семь лет, тучный, с поредевшими волосами, подбородок висит, как сумка у кенгуру, и эти глаза навывкате... На днях в Трианоне на аукционе он долго рассматривал автопортрет старого Рембрандта. Художник рисовал себя и зорко глядел в зеркало – и те же мысли посещали, видно, и его. Они обменялись усмешками через столетия.. Те же глаза, выпадающие из орбит, слезящиеся, и те же мешки под глазами, та же сумка кенгуру вместо подбородка. Овал лица... Обвал лица. И тот же покорный вопрос в глазах: зачем была вся эта бессмысленность? И рядом, как банальный ответ, продавался его набросок: прелестная головка служанки, любовницы Рембрандта. Радостная, торжествующая молодая плоть...

И сейчас продолжается его вчерашний разговор с покойным господином Рембрандтом. Ибо сегодня в майское утро Бомарше проснулся счастливым (как, должно быть, был счастливым господин Рембрандт, когда юная служанка покидала его постель). От Бомарше только что ушла она. И всю ночь была прежняя битва губ и стон смерти. Смерти желания... Изгиб спины... ее содрогание... Тайна женской спины, в изгибе которой прячется твоя смерть и завтрашнее наслаждение ее молодого тела... когда твоя плоть уже станет травой. Женская голова на подушке, эта непреходящая радость для размеренной жизни господина Рембрандта...

Но у гражданина Бомарше – опасное видение. Ибо когда голова этой женщины откинута в содрогании, когда она открывает глаза после, ему тотчас мерещится другая голова с открытыми глазами...

Палач Сансон рассказывал ему о *другой*.

Она поднялась... нет, взбежала... нет, вспорхнула на эшафот. Та же легкая поступь, как на балу. Но ясно было видно: она из последних сил сдерживала страх, слезы. Ее торопливо уложили на доску, ошейник охватил ее шею, папаша Сансон дернул веревку, и стальной треугольник рванулся вниз. Этот звук... шлепанье... нет, тупой удар некоего упавшего предмета, который еще мгновение назад был человеческой головой. Теперь этот отдельный предмет лежал в корзине. И струя крови из тела, торчавшего на доске...

Площадь радостно орала – требовала свидания с ее головой. И палач, добрый наш папаша Сансон, вынул свой кровавый улов из корзины и приказал помощнику показать толпе. Тот, держа голову за остриженные волосы, начал обходить эшафот. Голова была совсем седая... точнее, стала совсем седой, пока ждала удара ножа. Молодая седая голова... И кровь капала на помост.

И тысячи Фигаро на площади, увидев отрубленной самую прекрасную голову Европы, орала в восторге... Но тотчас смолкли – ибо голова *открыла глаза*, единственные в мире лазоревые глаза, от которых сходили с ума... Папаша Сансон объяснил гражданину

Бомарше, что это бывает, когда от предсмертного ужаса слишком напряжены мышцы – потом они так расслабляются. Она, видимо, очень боялась перед смертью и лишь великим усилием сдерживалась, чтобы не показать перед чернью свой страх.

Боже мой! Неужто он сегодня свидится с нею? Во всяком случае, сегодня Бомарше узнает главную тайну. Сын мира сего станет сыном... Кого? Или чего?

И Бомарше продолжил монолог: «Однако за дело – обсудим список действующих лиц «Представления *перед*...».

Номер один. Бонапарт. Но он отсутствует – завоевывает Египет. Да он и не пришел бы... Надо бы записать, какими были его глаза, когда я его впервые увидел. Он был совсем молоденьким офицериком, похожим на маленькую девочку. Но когда он посмотрел... никогда я не видел такого непреклонного взгляда. И тотчас понял – особый человек. Страшный... Теперь, когда на моих глазах разгорелась его небывалая слава, я попытался увидеть его вновь. Я понимал, что обстоятельства той давней нашей встречи стали для него опасным воспоминанием, но тем более решил попытаться. В то время Бонапарт вернулся из Италии. После своих великих побед он привез победоносный мир для Франции. Триумфатор, которому поклонялась нация, жил тогда в простом особняке своей жены на улице Шантерен. У меня появился неплохой предлог его увидеть. Я отправил ему письмо: «Гражданин генерал, наше правительство недавно вернуло мне усадьбу в центре Парижа, единственную в своем роде, и огромный дом, выстроенный с голландской простотой и афинской чистотой стиля. И эта усадьба предлагается мною, ее владельцем, Вам, гражданин генерал. Не говорите «нет», прежде чем мы не увидимся и Вы не осмотрите ее внимательно. Возможно, она покажется Вам достойной питать иногда Ваши высокие раздумья».

Я решил передать это послание на приеме, устроенном в его честь в Люксембургском дворце. Министры, генералы парижского гарнизона, дипломаты собрались славить его. Сверкающие мундиры на фоне декабрьских нищих деревьев, постоянный грохот оркестров, двор дворца в трофейных знаменах, картинах и мраморе великих итальянцев (генерал всласть пограбил Италию)... А в глубине двора – идиотский алтарь Отечества с гипсовыми статуями (естественно, Свободы, Равенства и, конечно же, Мира – в честь добытого генералом). Пять Директоров в римских тогах, будто вылезшие из ванной, сидят под гипсовым алтарем – глупее зрелища не придумать! Сам дворец (еще вчера бывший республиканской тюрьмой, где, ожидая смерти, возможно, сидела жена прославляемого ныне генерала – крепкого Жозефина) сверкает парадными залами и недавно возвращенной (украденной в революцию) мебелью. И мы, избранные смертные, глазеем из окон дворца во двор, ожидая генерала.

Пугающий грохот! Это салют – выстрелила артиллерийская батарея в Люксембургском саду. Началась церемония. Под крики: «Да здравствует Республика! Да здравствует Бонапарт!» – вводят того, кого я знал жалким офицериком. Он по-прежнему преступно молод и еще более шупл. Но какая величественность! И если эти идиоты в тогах так же похожи на римлян, как идиотские гипсовые статуи в алтаре на искусство, он – похож. Истинный Цезарь...

Он равнодушно слушает безвкусные выверты славословия: «Скупая природа! Какое счастье, что ты даришь нам от случая к случаю великих людей!» и прочее...

Его ответная речь образна и отрывиста, как военный приказ: «Наша великая революция преодолела вековые заблуждения. Восемнадцать веков Европой управляли религия и монархия. Но теперь, после моего мира, наступила новая эра – правления народных представителей!»

И – всеобщий вопль восторга. Он идол.

Каюсь, я колебался, прежде чем передать ему послание. Я почувствовал себя маленьким и жалким во время этого народного безумия, но тут же вспомнил, скольких они почитали за мою жизнь. Людовик Пятнадцатый, по прозвищу «Возлюбленный народом» (его статуи разбиты ныне по всей Франции), Мирабо, по прозвищу «Мсье Восхищение» (его останки выкинули из могилы), Марат, которого на руках носили в лавровом венке (его имя теперь проклято), Дантон, Робеспьер... целого дня не хватит произносить имена вчерашних богов.

И я подошел к его жене. Говорят, креолке на самом деле уже под сорок, и когда она выходила замуж за юного героя, в брачном контракте скинула себе аж четыре года. Но сейчас румяна и пудра свершили обычное чудо: юное очаровательное личико, голубые глазки, огромные ресницы, вьющиеся темные волосы с медным отливом.. и нежность голоса, грация и легкость в движениях, которую я так любил у Антуанетты. И кокетство, зов – это великое «Подойди сюда», которое сводит с ума... О женщина!

Я передал ей письмо. Она умудрилась прелестно улыбнуться, не разжимая рта (говорят, у нее плохие зубы).

Вскоре последовал ответ генерала: «Я с удовольствием воспользуюсь первым представившимся мне случаем, чтобы познакомиться с автором «Преступной матери». И ни слова о доме!

Письмо означало: вы хотите меня увидеть, но я не хочу.

Настаивать было опасно.

Кстати, весьма странный вкус у гражданина Бонапарта – из всех моих пьес он почему-то избрал не самую удачную.

Когда два года назад «Комеди Франсэз» возобновил «Преступную мать», разнесся слух, будто генерал Бонапарт специально вернется из Италии, где он одерживал очередные великие победы, чтобы посмотреть любимую пьесу. Я всегда отказывался выходить к публике на аплодисменты в финале. Но его присутствие... Кроме того, я соскучился по признанию после собачьих лет бегства, эмиграции и прочего.

И я вышел на сцену. Аплодисменты вновь заставили меня пережить забытое чувство славы. Но тщетно я искал его глазами: Бонапарта в зале не было, наш герой продолжал воевать в Италии.

Теперь он в песках Египта. Так что можно сказать: сегодня по уважительной причине он не сможет участвовать в представлении.

Но вернемся к списку действующих лиц сегодняшней пьесы. Король и королева тоже отсутствуют и, как известно, тоже по самым уважительным причинам: удалились в могилу. Так что из всего списка должны прийти только граф Ф., маркиз де С. и *она*.

И все-таки прелестное ожидается представление! Мое последнее представление...

Однако негодяй с китайским носом не торопится принести мне кофе...»

Гражданин Бомарше позвонил в колокольчик. Но никто не пришел.

И тут он услышал...

Гражданин Бомарше продолжает сочинять пьесу

«В это время (о тишина майского утра на окраине Парижа!) по булыжной мостовой тяжело и звонко прогрохотало – и затихло. В окно я увидел, что подъехала карета и остановилась у моего дома...»

Лучше так: «В то важнейшее утро в жизни гражданина Бомарше...» Нет, можно точнее: «В то утро, 17 мая 1799 года, обещавшее стать последним в жизни Бомарше, к некогда роскошному (но весьма пострадавшему в дни революции) огромному дому, принадлежавшему сему гражданину, подкатил экипаж...»

В окно Бомарше наблюдал, как из кареты выпрыгнул господин в черном и открыл дверцы. После чего из экипажа стремительно выскочил другой господин, тоже в черном...

«Вот это новость! Каково действующее лицо! Но... он не заявлен... его нет в списке действующих лиц! Поворот сюжета?!»

Теперь Бомарше кричал, сопровождая ругательствами каждое слово:

– Куда ты исчез, подлец? (Непечатное.) Фигаро! (Непечатное.) Неси одеваться! Мало того, что ты так и не принес мне кофе! Мало того, что твой китайский нос... (Совсем непечатное.)

Он яростно, но тщетно звонил в колокольчик. А в дверь уже постучали, после чего просунулась голова прибывшего.

– С добрым утром, гражданин Бомарше, – необычайно ласково пропела голова. И узкое туловище едва втиснулось в открытую дверь.

«Пришедший в черном фраке был пугающе худ. Землистое лицо, бесцветные пряди волос, бесцветные брови, хищный костлявый нос, усмешка в тонких сжатых губах и непроницаемый взгляд бесцветных рыбьих глаз».

– С добрым утром, гражданин Фуше. Вынужден принять вас в халате...

– Я немного рано, гражданин?

– У вас, вероятно, бессонница, гражданин, – ответил Бомарше.

– Спасибо, что вы рассердились. Обычно, когда меня видят, пугаются.

– Что делать, для многих вы... как бы это выразиться...

– Поделикатней, – веселясь, подсказал гражданин Фуше.

– Вы – некоторое воспоминание о... – Бомарше в тон засмеялся.

– О мерзостях навсегда ушедшей в Лету нашей великой революции, – подхватил как-то сочувственно гражданин Фуше. – Да, да... тысяча шестьсот четырнадцать убитых в Лионе. Ужас! Но порядок мы там навели.

– И бедного короля...

– Кошмар! И королеву не забудьте. Я голосовал за казнь обоих. Конечно, заблуждение... но с монархией мы покончили. Какая эпоха ушла! Но вы правы – французы вспоминают с ужасом, что они сотворили. Хотя, поверьте, уже завтра поставят памятники всем, кого нынче клянут, – и Дантону, и всем прочим кровавым глупцам. А умным людям — никогда... – продолжил вздыхать Фуше. – Давно я не был в Париже. Все так изменилось! Прошло всего три года, как они отослали меня за границу послом. Наше вечное – «посол вон!» Предпочли держать вдалеке – я символ ушедшего печального времени. Однако, как видите, я снова тут. И как вы сейчас узнаете – надолго. Отправился я нынче в Булонский лес, потом на Елисейские поля... Послушайте, куда подевалась революционная простота? Только после революционного воздержания может быть такой разврат, такая жажда роскоши, удовольствий. Среди аллей и кофеен – дамы в туалетах античных богинь, у мужчин трости с драгоценными набалдашниками... Выставка богатства, как при проклятом королевском режиме! И давно это здесь началось?

– Вы отлично знаете – на следующий день после того, как упала голова Робеспьера.

– Бедняга Робеспьер... Да, он погиб.

– И тоже...

– Именно, именно, – сокрушался Фуше, – благодаря мне.

– И к власти опять вернулись деньги. И как ни удивительно...

– Да, вернулся и я.

– Ну конечно, вы должны были вернуться! Как же я не понял!

– Также удивляюсь. Вы умный человек – и корите меня старой кровью. Настали новые времена. В Париже наконец-то усвоили: кто-то должен хорошо защищать наворованные в революцию богатства. Кто-то должен помогать держать в узде опасное чудовище... пардон, горячо любимый французский народ. Нужны жесткие, исполнительные люди.

– Вы правы. Нужен тот, кто прежде хорошо исполнял роль кровавого революционера.

– Приятно с вами беседовать. «Исполнял роль...» Именно! Да, только он и способен исполнить новую роль – беспощадно покончить с «кровавой революцией»! Так ее теперь называют? Короче, уже неделя, как Директора затребовали меня из посольского изгнания. Этого, кстати, еще не знает никто... Дарю эту новость гражданину Бомарше, обожающему все узнавать первым. Уверен, что котировки на бирже вначале падут – наши болваны испугаются моего возвращения, решат, что возвращается революция. Так что можете лихо поиграть...

Бомарше молчал и вопросительно глядел на собеседника.

– Новый министр полиции, к вашим услугам. Так что теперь, дорогой гражданин, вряд ли для кого-нибудь я буду приходить вовремя... Надеюсь, вы не особенно встревожены этим сообщением?

– Ну что вы, меня столько раз арестовывали... и при всех режимах. Однако, к делу. – И Бомарше закричал: – Эй, Фигаро, кофе гостю!

Но слуга не появился. Фуше улыбался.

– Ваш нынешний Фигаро не сумеет прийти с чашечкой кофе. Его только что увезли в полицию, вернут тотчас после нашего разговора. Слуги любят подслушивать, а я не хотел бы, чтобы он нас услышал.

– Сколько продлится наш разговор?

– Вам, как знаменитому часовщику и, следовательно, контролеру времени, я просто обязан точно ответить. Но, увы! Изучив (пока лишь заочно) вашу манеру беседовать, вашу любовь к бесконечному монологу – сказать не берусь.

– Только говорите громче. В последнее время я несколько оглох.

– Да, да... знаменитая глухота Бомарше. Кстати, могу рассказать, когда и, главное, почему она у вас появилась. Это случилось, когда в Париже впервые давали оперу Моцарта «Женитьба Фигаро». Позвали, естественно, и вас. Глупцы ждали отзыва автора великой пьесы о знаменитой опере. Но внезапная глухота помешала...

– Да, мало что довелось услышать.

– Вот именно, – продолжал сокрушаться гражданин Фуше, – слушать-то пришлось через рожок. Какая потеря! Опера очаровательна, легкомысленна, как тот исчезнувший танцующий век... Мсье Талейран, наш новоиспеченный министр иностранных дел, большой любитель афоризмов, сказал мне: «Кто не жил в восемнадцатом веке, тот вообще не жил». На мой вкус лучше иначе: «Кто жил в восемнадцатом веке, тот довольно быстро уже не жил». Сколько великих отправил на гильотину ваш веселый Фигаро... то бишь наш увлекающийся проказник великий народ. Правда, главный смысл «жажды бунта великого Фигаро», который так пленял в вашей пьесе господина Дантона (отправленного, кстати, все тем же «великим Фигаро» на ту же гильотину), совершенно пропал в божественной музыке. Оттого-то злые языки и утверждали, что опера вам попросту не понравилась. Потому и злосчастный

рожок появился, и те же злые языки настойчиво твердят, что с тех пор вы всегда глухнете вовремя... Может быть, вы хотите оглохнуть сейчас?

Гражданин Бомарше молчал. Или, точнее: «Вместо ответа гражданин Бомарше начал пристально изучать лицо гражданина Фуше».

– Что вы так смотрите?

– В последнее время, – задумчиво произнес Бомарше, – я все чаще размышлял: стоит ли оставаться знаменитым, но престарелым... точнее, устарелым драматургом, когда можно стать молодым прозаиком? И потому теперь учусь описывать. Прозаики так болтливы! Драматург пишет: «Вошел Фуше» – и все ясно. Прозаик: «Вошел Фуше с лицом бледным...» и прочее, и прочее... – Не трудитесь. Вы уже столько раз описали мое лицо... «Фуше с лицом трупа и душой демона» – это вы сказали обо мне в разговоре с генералом Моро шестого мая тысяча семьсот девяносто седьмого года на банкете по случаю представления в «Комеди Франсэз» вашей пьесы «Преступная мать». Во время свадьбы вашей дочери девятого июля девяносто шестого года вы высказались обо мне столь же образно в разговоре с гражданином Лебренем, членом Совета Старейшин: «Какое счастье, что длинная фигура этого мерзавца... – то есть моя, – торчит за пределами Франции. Этот черт из табакерки – то есть я, – умудрился предать всех, кроме дьявола». Не удивляйтесь точности – я уже принял досье министерства полиции... Ничего, ничего, я не обидчив. Ваше дело говорить, гражданин Бомарше, на то вы и великий сочинитель. А наше дело записывать, чтобы не пропали слова бессмертных. Вы часто обо мне говорили, и это большая честь. Но вы не были мудры, когда девятнадцатого декабря девяносто шестого года вы сказали: «Мерило благородства – это то страдание, которое испытывает человек, совершив низость. Люди типа Фуше не знают, что это такое». Все как раз наоборот! Это большое искусство – не испытывать страдания, постоянно совершая низости, ибо только так можно было выжить в наше грозное время. Так что на укоровизненный вопрос всех наших великих глупцов – великих революционеров, которые нынче покоятся в безымянных могилах с отрезанными головами меж раздвинутых ног: «Чем вы занимались в то кровавое время?» – есть только один наш ответ: «Мы выжили»... Простите, не могу оторвать глаз от этих стульчиков. – Фуше указал на два грязных стула, сиротливо стоявших у вишневой занавеси.

Бомарше печально посмотрел на них.

– Да, гражданин, эти два изгаженных стула, пожалуй, нынче вся роскошь в этом когда-то великолепном доме.

– Точнее, во дворце, который в Европе королей имел единственный литератор: сын жалкого часовщика и автор пьесы, разрушившей эту самую королевскую Европу, – Пьер Огюстен Бомарше.

– Я как-то над этим не задумывался.

– Я построил бы вашу реплику иначе: «Я над этим задумывался и гордился».

– Соавторство принимается.

– Зачем вам такой огромный дом? Здесь чувствуется потеря вкуса... Это не праздный вопрос, как вы поймете потом.

– Допрос начался?

Фуше улыбнулся.

– Мне было уже под пятьдесят, – начал Бомарше, – и я решил осуществить мечту жизни каждого литератора: построить большой... нет – огромный собственный дом, дворец для Художника. Я нашел довольно удачное и, главное, тихое место здесь, в Сент-Антуанском предместье. Дом, как вы видите, выходит на площадь, где недавно стояла Бастилия. Здесь заканчивается сумасшедший Париж. По одну сторону – здания великого города, по другую – сельская идиллия, загородные дома «под листьями», особнячки, куда когда-то приезжали для любовных безумств вельможи последнего королевства. Здесь был дом Калиостро... Я

построил этот дворец, как хотел – свет и простор. Я сам придумал этот длиннейший фасад в форме полукруга с колоннадой, двести окон по фасаду, внутри мрамор, красное дерево, огромная бильярдная, похожая на собор, искусно скрытое освещение... Вам следует все это представить, ибо ничего, кроме стен, увы, не осталось.

– А как вы относились к тому, что дом Бомарше называли в Париже «образцом варварской роскоши и дурного вкуса»?

– Я отвечал: «В Париже много умных людей, но, как правило, они экономно расходуют свои мысли». Все, что я делал в жизни, большинство не понимало... Этот дом похож на меня. В нем был размах.

– Причем из всех окон у вас была видна...

– Совершенно верно – Бастилия.

– Это вас не пугало? Впрочем, просвещенные люди выше суеверий. Они даже в Бога не верили.

– Хотя и не доходили до такой смелости, как один бывший священнослужитель, привязавший в дни революции Евангелие к хвосту осла.

– Привязавший, когда нужно было... Но теперь вы можете увидеть меня на молитве в Нотр-Дам. Надеюсь, Бог по-прежнему столь же милосерден к грешникам, как и до революции.

– Кстати, о Бастилии. Мне приходилось...

– Да, да, – сокрушенно подтвердил Фуше, – вам приходилось сидеть в тюрьме. И не раз.

– Между прочим, Бастилия была отнюдь не мрачным, а напротив – красивым средневековым замком и совсем не портила вид. Но вы правы. Я должен был понять: судьба предупреждала меня. Не зря Бастилия глядела на меня из всех окон... Как видите, все здесь разрушила революция. Уничтожила камин каррарского мрамора, он в этой спальне стоял, и теперь приходится занавешивать изуродованную стену, – Бомарше показал на вишневую занавесь. – В гостиной был подлинный этрусский мозаичный пол – выломали. Разбили зеркала, украли гобелены, изуродовали расписной потолок похабными надписями. Все картины исчезли... Но больше всего жаль роскошный парк, где аллеи и рожицы соседствовали с водопадом. В зелени – бюсты любимых философов...

– И себя не забыли...

– Это был всего лишь простой камень с моими словами: «Я все видел, всем занимался, все испытал»... На холме возвышался храм Вольтера. И его удивительная статуя – голый Вольтер с жалким телом и саркастической, единственной в мире улыбкой.

– Хотя голым можно было изобразить вас. Вы сильно прогорели, издавая его сочинения. Думаю, это было единственное предприятие, когда вы не думали о деньгах.

– Мы все его должники. Вольтер осуществил мечту всех литераторов, начиная с Платона, – благодаря ему философы стали править королями. И великий прусский король, и великая русская императрица заискивали перед немощным стариком. Они заискивали перед Разумом... Впервые я увидел его, когда после тридцати лет изгнания он вернулся в Париж. Наш несчастный безвластный король разрешил приехать королю подлинному. И весь Париж, все знатнейшие и религиознейшие рвались в дом Вольтера, смеявшегося над знатностью и Богом много десятилетий. Все окружение Марии Антуанетты отметились в доме подлинного короля. Пришел и я – предложил Вольтеру издать собрание его сочинений. Я знал, что оно будет убыточным. И Вольтер это знал и был благодарен. Тогда мы обнялись...

– Вольтер и его друг Бомарше – историческое объятие!

– Я содрогался от запаха смерти из его рта...

– По нашим сведениям, это был единственный раз, когда Вольтер принял своего друга, о котором он столько раз говорил, раздраженный его популярностью: «Ах, этот Бомарше! Он мог бы стать Мольером, если бы не любил жизнь более литературы». И далее следовала

пренебрежительно-язвительная вольтеровская улыбка, совсем как на скульптуре в вашем саду... И все понимали – Мольером Бомарше не стал!

– Простим же слабости великим за счастье, которое они нам доставляли, – засмеялся Бомарше. – Все мы, литераторы, – члены республики волков. Сколько раз я в этом убеждался! При короле в списке угнетенных сразу вслед за евреями смело можно было поставить моих коллег-драматургов. Со странной покорностью мы терпели власть актеров, забиравших все наши гонорары... Я решил собрать драматургов вместе и отвоевать наши права. Но на первом же заседании господ литераторы... переругались между собой! Вечно обиженные всеми и вечно ревнивые друг к другу, они вызубрили только одну фразу, которую тотчас сказал мне лучший из них, Лагарп: «Если среди вас окажется такой-то, учтите – меня среди вас не будет».

– Запах смерти, – засмеялся Фуше. – Думаю, вы часто вспоминали запах смерти, когда думали о великом Вольтере. «Когда стало ясно, чем закончились его великие идеи» – ваша фраза, сказанная вскоре после революции и, конечно же, оставшаяся в вашем досье.

– Хотя точнее было бы сказать: «Чем вы закончили его идеи».

– Или уж совсем точно – «мы закончили», дорогой гражданин. Он, вы, ваш Фигаро, его монологи бунтаря, возбуждавшие умы... А потом уже я, Дантон, Демулен, Робеспьер...

– И все же великое было время! В первую годовщину взятия Бастилии не было конца веселью, пляскам. Ни одна страна не знала подобного опьянения свободой, все пришли на Марсово поле – от герцога Монморанси до последнего трубочиста. Король, Антуанетта, члены Национального собрания... Никогда король не чувствовал такой любви нации. Я предложил тогда воздвигнуть на Марсовом поле гигантский монумент Свободы. Все мы мечтали «выпрямить дерево», но почему-то наклонили его в другую сторону. Да и сама свобода началась с сомнительного подвига – взятия Бастилии.

Мне посчастливилось увидеть весь спектакль...

– Вы удивительно выдержанны. Совершенно не интересуетесь, зачем вас навестил министр полиции.

– Я чувствую, меня ждет очень интересное, и откладываю это на десерт. А пока я попросту рад беседовать с умным человеком. В последнее время у Бомарше мало любопытных посетителей. Когда тебе шестьдесят пять лет, все примиряются с твоей славой – ты мэтр, к тебе приходит в основном молодежь, изумленная тем, что столь великий человек еще жив. Или выжившие из ума сверстники... Итак, мы говорили о взятии Бастилии. Десять лет прошло – и все как вчера! В тот июльский день у меня было много гостей. Мы прогуливались по парку, постояли у статуи голого Вольтера, потом отправились обедать в огромную столовую. Но обед был прерван – на улице раздались крики. И в окна мы увидели огромную толпу, заполнившую площадь. Обед оказался историческим! Из всех двухсот окон по фасаду мои гости наблюдали Историю – как тысячи вооруженных ружьями, пиками и кольями людей штурмовали крепость... Помню, над стенами показался дымок – несколько инвалидов, оборонявших Бастилию, выстрелили из пушек. Потом все прекратилось. Кто-то из защитников показался в воротах с белым флагом, и торжествующая, орущая песни толпа бросилась внутрь крепости. А затем из окон мы увидели странное: человек нес пику... на ней было что-то... мы сначала не разглядели. Но когда он приблизился, я понял: это была человеческая голова! Голова моего знакомого, коменданта Бастилии!

– Да, тысячи Фигаро в тот великий день начали воплощать великие идеи равенства...

Но Бомарше, к некоторому разочарованию гражданина Фуше, будто не слыша насмешки, преспокойно продолжал:

– И во главе толпы я узнал моего хорошего знакомого – молодого человека, маленького, заросшего волосами, нервного... До того как я построил этот дом, я полтора десятка лет жил в Латинском квартале, недалеко от дворца принца Конде... там потом построили Одеон...

И в трех шагах от меня жил некто господин Дюплесси, человек состоятельный, набожный и благонамеренный. Я с ним с удовольствием раскланивался, ибо у него подросла дочь... совершенная красotka...

– Люсиль... – уточнил Фуше.

«На лице Фуше появилось даже подобие грусти».

– Я уже решил поближе познакомиться с нею, но... В их дом начал ходить худенький длинноволосый юноша с загнутым, как клюв, носом и с дурной привычкой нервно кусать ногти...

– Бедняга Демулен...

– Потом я с завистью наблюдал, как они целовались в Люксембургском саду, и все думал: интересно, как он целуется с таким носом? Ведь мешает... С ними всегда гулял маленький молодой человек с узким лбом и поразительно упрямым подбородком. Он обожал голубые фраки, и у него была смешная привычка чрезмерно пудрить волосы, так что когда он снимал шляпу, над ним вставал белый нимб. Готов поклясться, он тайно был влюблен в Люсиль, но вряд ли позволил себе хоть что-то. Он был из тех онанистов, которые никогда не подойдут к женщине... Как выяснилось, они с Демуленом вместе учились. Его звали Максимилиан Робеспьер. Впрочем, вы их хорошо знали...

– Более того – дружили. Мы были погодками: Робеспьер старше меня на год, я на год старше Демулена. Самое забавное, впервые я их увидел вместе всех троих. В тот день я приехал к Одеону в тщетной надежде попасть...

Бомарше засмеялся. Он понял.

– Да, – продолжал Фуше, – весь Париж мечтал тогда попасть в Одеон, где давали «Женитьбу Фигаро». Вся Франция была наслышана о пьесе Бомарше. Экипажи стояли вдоль Сены, тысячная толпа заполняла площадь... Как и положено было тогда во Франции, запрещенную комедию никто не читал, но о ней знали все! Все знали, что Фигаро говорит там восхитительно-возмутительные вещи. И все хотели их услышать – королева, принцы крови... сопротивлялся один глупый король. Да, только этот глупец понимал то, чего не понимали умники: как страшна эта пьеса! И когда его заставили наконец разрешить ее, вся аристократия бросилась в театр аплодировать Фигаро, который еще только собирался с ней покончить. Помню, было тепло – конец апреля. Я пробился к самому театру, стоял в толпе и не мог даже пошевелиться. Меня спасло появление герцогини де Ламбаль. Полиция пробила ей дорогу и освободила меня из плена. Несколько человек были задавлены в той толпе... Притиснутые ко мне, стояли двое юношей и девушка, тщетно мечтающие, как и я, попасть на вашу пьесу. Думал ли я, что буду запросто беседовать с вами? Думал ли, что подружусь со всей этой троицей и что двое стоявших рядом юношей будут решать судьбы Франции? И что один из них – маленький Робеспьер – отправит на гильотину и эту девушку Люсиль, в которую, вы правы, он был безнадежно влюблен, и этого юношу Камилла Демулена, с которым дружил с детства?

– А думал ли Робеспьер, что сам очутится на гильотине? И что этому немало будет способствовать четвертый, стоявший вместе с ними в толпе, с которым он вскоре так подружится? Какая пьеса о дружбе четверых!

– Думал ли автор пьесы, что ему будет дано увидеть великое – как его литературный герой победил? Правда, вскоре после этой победы автору самому придется спастись от своего героя через подземный ход. Толпа разъяренных Фигаро будет штурмовать дом богача Бомарше. Забавно... Кстати, зачем вы велели прорыть этот тайный ход?

– Архитектор спланировал его вместе с дворцом.

– Да нет, совсем не так, гражданин. Его начали рыть шестнадцатого декабря восемнадцатого года, вскоре после того как вы посетили салон господина Водрейля. Мы еще вернемся к этому вашему визиту... Как видите, я достаточно знаю о вас. В парке около

вашего камня с надписью до сих пор находится скрытая дверь в подземный ход на улицу Паделя-Мюль. Одиннадцатого августа девяносто второго года, когда тридцати тысячная толпа штурмовала ваш дом, вы, переодетый, ползли по этому ходу. Но почему вы вдруг начали его строить? Думаю, я понял.

– Из того же досье?

– Вы скоро поймете, что шутки тут неуместны. А к вашему досье мы еще не раз вернемся... Какое это увлекательное чтение – досье на Бомарше! Особенно один эпизод, который случился за пару лет до штурма Бастилии. В одном из салонов вы увидели мсье Казота. Мне его тоже пришлось повидать. Правда, позже.

– Думаю, и не в лучшее для него время.

– Вы правы. Перед тем как его гильотинировали. Полуслепой, круглолицый, с добродушнейшим лицом, так не вязавшимся с тем таинственным, что он обычно говорил... Он был членом секты мартинистов и много занимался общением с миром духов. Поэтому досье на него...

– Могу себе представить.

– Поверьте, не можете – такое оно обширное. Впрочем, как и ваше, и многих других умных людей... На Казота набралось сто пятьдесят девять томов. Ему было под семьдесят, когда вы его увидели в тот день. Вы ведь не знали его до этого?

– Его самого – нет. Но я хорошо знал его мистические стихи и романы. Говорили, что после выхода в свет «Влюбленного дьявола» и начались его видения. Все вокруг Казота было таинственно... как и его казнь после революции. Надеюсь, в досье указана причина этой странной казни?

Фуше развеселился:

– «Странной»... так вы сказали? Да нет, закономерной. И я вам расскажу подробности. Ваш знакомец Казот казнен двадцать четвертого сентября девяносто второго года. Я был среди тех, кто требовал казни. Глава его секты Сен-Мартен да и его последователи приветствовали революцию. Казот же оставался приверженцем короля и даже участвовал.. – Фуше остановился, помолчал и медленно закончил: —.. в побеге Людовика Шестнадцатого и королевской семьи летом девяносто второго. Вместе с неким графом Ферзенем и еще одним господином. Оттого его и казнили. – Здесь гражданин Фуше вновь выдержал долгую паузу, внимательно посмотрел на гражданина Бомарше, потом произнес: – Да вы и сами об этом очень хорошо знаете.

«Но лицо Бомарше сохраняло полнейшую невозмутимость».

– Неужто я ошибся? – насмешливо продолжал Фуше. – А мне казалось, вы замечательно осведомлены об этом побеге.

– Я видел Казота всего лишь однажды, – равнодушно сказал Бомарше, – на том вечере в салоне мсье Водрейля, о котором вы заговорили.

– И после которого вы приказали вырыть потайной ход... Мне очень хотелось бы услышать об этом вечере именно от вас.

– Это и есть цель вашего прихода?

– Цель – впереди. А это назовем вступлением... перед тем как я начну задавать вам главные вопросы. Итак?

– Это случилось, – начал Бомарше, – то ли в конце восемьдесят седьмого года... то ли раньше... Года сливаются.

– С удовольствием помогу: двенадцатого декабря тысяча семьсот восемьдесят шестого года.

«Бомарше только развел руками, показывая, как восхищен знаниями гражданина Фуше».

– Простите, что прервал вас... Я весь внимание. Итак, двенадцатого декабря восьмидесяти шестого года...

– В тот вечер у мсье Водрейля собралось многочисленное общество: несколько философов, несколько прекрасных и притом, как ни печально, умных дам... Среди приглашенных были люди самых разных чинов и званий – придворные, судейские, литераторы, академики, короче, мозг королевства. Мы превосходно пообедали; мальвазия и капские вина постепенно развязали языки, и к десерту наша веселая застольная беседа приняла такой вольный характер, что временами даже начинала переходить границы благовоспитанности. В ту пору в свете ради острого словца уже позволяли себе говорить решительно все. Кто-то рассказывал малопрстойные анекдоты, и дамы слушали их безо всякого смущения, не считая нужным даже закрываться веером. Затем послышались насмешки над религией. Кто-то привел строфу из вольтеровской «Девственницы», другой – знаменитые тогда стихи: «Кишкой последнего попа последнего царя удавим». Кто-то встал и, подняв бокал, громогласно заявил: «Господа, я также твердо убежден в том, что Бога нет, как и в том, что Гомер был глупцом». И он в самом деле был убежден в этом. Тут все принялись толковать о Боге и о Гомере; впрочем, нашелся среди присутствующих и такой, кто сказал доброе слово о том и о другом.

– Это был...

– Да, я... Постепенно беседа приняла более серьезный характер. Кто-то выразил восхищение истинной революцией, которую произвел в умах Вольтер. Превозносились и остальные философы...

– А также, как сказано в досье, ваш Фигаро. Он был тогда у всех на устах, ибо «готовил великое дело освобождения умов». И подготовил.

Но Бомарше был невозмутим. Он опять пропустил колкость и продолжал:

– Все сошлись на том, что суеверию и фанатизму неизбежно придет конец, что место их займет философия, что революция не за горами. Уже принялись высчитывать, как скоро она может наступить и кому из присутствующих доведется увидеть желанное царство Разума собственными глазами. Люди преклонных лет сетовали, что им до этого не дожить... И тогда Казот (он угрюмо молчал весь вечер) вдруг сказал: «Можете радоваться, господа, вы все увидите великую революцию, о которой так мечтаете. Я ведь немного предсказатель, и вот я говорю вам: вы ее увидите. Но знаете ли вы, что произойдет после революции со всеми... точнее, *почти со всеми* здесь сидящими? И главное – что будет ее итогом, логическим следствием, естественным выводом?» Здесь он вдруг замолчал. И тогда маркиз де Кондорсе презрительно улыбнулся: «Ну что же вы остановились? Философу интересно выслушать прорицателя...» Но Казот все колебался и наконец не без усилия начал: «Вы, господин де Кондорсе, закончите свою жизнь на каменном полу темницы. Вы умрете от яда, который, как и многие другие в столь ожидаемые «счастливые времена», вынуждены будете постоянно носить с собой. Вы примете его, чтобы избежать руки палача...» Все онемели от изумления, но тотчас вспомнили, что добрейший Казот славился своими странными выходками, и стали смеяться. Помню, особенно громко хохотал Кондорсе, которому через несколько лет в дни террора суждено будет принять яд в тюрьме! Но Казот продолжал: «Это, кстати, случится в царстве Разума, которому в те дни будет воздвигнут особый храм. Более того, во всей Франции не будет других храмов, кроме храмов Разума... И вот во имя Разума, во имя философии, человечности, свободы начнется повальное убийство. И вы, улыбающийся господин Мальзерб, и все здесь сидящие и столь весело хохочущие... – здесь он остановился и опять поправился: – *...нет, почти все*... кончите свою жизнь на эшафоте. И самое удивительное – вас убьют не завоеватели, не турки или татары. Люди, которые отправят вас на смерть, будут такими же поклонниками философии, и они будут произносить те же слова,

которые произносите здесь вы, и они будут повторять те же мысли о Разуме, и цитировать те же стихи... и при этом убивать, бесчисленно убивать!»

Тут все перестали смеяться. Смех застрял в горле – тон Казота завораживал. Потом послышались голоса: «Он сумасшедший!.. Да нет, он просто шутит! В его шутках всегда есть нечто загадочное». Помню, герцогиня де Грамон не выдержала и сказала как-то просительно: «Но мы, женщины, счастливее вас, мужчин. К политике мы непричастны, ни за что не отвечаем, потому что наш пол...»

«Ваш пол, сударыня, – резко прервал ее Казот, – не сможет на этот раз послужить вам защитой. И как бы мало ни были вы причастны к политике, вас, герцогиня, постигнет участь мужчин». Здесь уже не выдержал Мальзерб: «Да послушайте, господин Казот, что вы такое проповедуете? Что же это будет? Конец света, что ли?» – «Этого я не знаю. Знаю одно: герцогиню со связанными за спиной руками повезут на эшафот. И вместе с нею в тот день будете и вы, господин Мальзерб... и тоже с руками за спиной... и вы... и вы, – он указал еще на двух дам, – будете с ними».

«А как же мы все поместимся в одной карете?» – бедная герцогиня все пыталась обратиться к Казоту в шутку.

«Карета? Ну что вы! – как-то монотонно ответил Казот. – Никакой кареты, сударыня. Тюремная повозка повезет вас всех на смерть. Впрочем, и более высокопоставленные дамы поедут на эшафот в такой же позорной, грязной тюремной телеге – с руками, связанными за спиной».

«Более высокопоставленные? Уж не принцессы ли крови?» – иронически спросила герцогиня, но голос ее дрожал.

«И более высокопоставленные...»

Помню, как он стал бледен, произнес это.

Среди гостей произошло замешательство. Лицо хозяина помрачнело. А госпожа де Грамон, все желая рассеять тягостное впечатление, шутливо-капризно заметила: «Боюсь, суровый прорицатель не оставит нам даже духовника».

«Вы правы, сударыня, у вас не будет духовника, как и у других. Последний казненный, которому в виде величайшей милости даровано будет право исповеди...»

Он замолчал. И тогда не выдержал я и спросил: «Ну договаривайте, кто же этот счастливый смертный?» Помню, как исказилось его лицо, и он сказал хрипло: «Король Франции».

И тогда хозяин дома вскочил, подошел к Казоту и взволнованно сказал: «Дорогой мой, довольно, прошу вас! Вы слишком далеко зашли в этой мрачной шутке и рискуете поставить в опасное положение и наше общество, и самого себя».

Казот ничего не ответил и молча поднялся, чтобы уйти. Но его остановила все та же госпожа де Грамон, которая по-прежнему отважно старалась обратить все в шутку и вернуть всем хорошее настроение.

«Господин мрачный пророк, – сказала она, – вы всем нам предсказали всякие ужасы. Что ж вы промолчали о самом себе? Что ждет вас?»

Некоторое время Казот молчал, стоя в дверях залы. Потом заговорил: «Я могу ответить только словами Иосифа Флавия, описывающего осаду Иерусалима: «Горе Сиону! Горе и мне!» Я вижу себя на том же эшафоте».

Сказав это, Казот учтиво поклонился и вышел из комнаты.

– Bravo! Вот что значит гений театра! Живая вышла сцена... Но насчет всеобщего ужаса – это не совсем так. В полицейском донесении об этом вечере есть забавная деталь, – сказал Фуше, – поведение одного из гостей. Когда все в ужасе внимали Казоту, он единственный...

– Вы правы, я расхохотался. Меня восхитило чувство юмора у Господа – позволить людям основать атеистическое царство Разума, где тотчас исчезнет всякий разум. Заставить палачей убивать друг друга... Правда, когда Казот все это предсказывал, я не очень верил. Но когда все начало осуществляться, меня утешала только одна фраза Казота. Когда он говорил: «Это произойдет со всеми», то остановился, посмотрел на меня и вдруг поправился: «Почти со всеми».

– Так вот причина, почему он в вас поверил. Он знал, что вы выживете!

«Бомарше с изумлением глядел на Фуше».

– Опять не понимаете? А я уже не первый раз намекаю. Таинственный господин, который с покойным Казотом и графом Ферзеном попытался устроить бегство короля и его семьи из Парижа... это ведь вы, гражданин Бомарше!

«Бомарше предпочел усмехнуться и промолчать». Фуше продолжал:

– Кстати, коли мы уж заговорили о графе Ферзене... Он недавно пересек границу Франции и сейчас скрывается у приемной дочери казненной герцогини де Грамон и близкой подруги мадам Жозефины.

– Я не очень осведомлен, кто такая эта Жозефина. Слишком много новых знаменитостей, не успеваешь следить...

– А, по-моему, вы очень хорошо осведомлены и о Жозефине, и о графе, и обо всем... Вы даже передали Жозефине письмо генералу с предложением купить ваш дом.

– Браво!

– Вы верно оценили новый список действующих лиц. Вот почему недавно вы прославили в ужасающих стихах господина Талейрана. И нынешнего мужа гражданки Жозефины, генерала Бонапарта, – и тоже не в лучших стихах. Вы почему-то упорно пытаетесь с ним встретиться. Я подчеркнул бы – «почему-то», ибо я знаю – *почему*... Кстати, в разговоре с поэтом Коленом д'Арлевилем... это было третьего мая девяносто шестого года, накануне премьеры «Преступной матери»... вы зря насмехались над любовью Бонапарта к этой вашей пьесе. На мой вкус, она и вправду не может сравниться ни с «Безумным днем», ни с «Севильским цирюльником». Но в тех – дух Фигаро, дух бунта. А Бонапарт, надо вам сказать, пришел этот дух усмирить. Впрочем, генерал неотступно занимает ваше воображение... Недавно про нашего неустрашимого героя начали рассказывать забавный анекдот. Дескать, у Жозефины есть любимый мопс, про которого говорят, что он спит с ними. И Бонапарту приходится мириться в постели с четвероногим «третьим». Генерал может выигрывать великие сражения, но отступает перед мопсом, когда речь идет о Жозефине!

«Послышалось некое кудахтанье, означавшее смех гражданина Фуше».

– Забавно...

– Конечно. Особенно если знать, что этот анекдот – как и многие другие новые анекдоты – сочинил Бомарше. Он рассказал его впервые шестого июня девяносто седьмого года.

– Ну, ну... Бомарше не сочиняет так скучно. «Однажды Бонапарт сказал своему генералу: «Видите этого господина? – он указал на канapé, где сидел мопс. – Это маленькое чудовище – мой удачливый соперник. Когда я женился, то узнал, что он – истинный хозяин в постели мадам. И когда я захотел его прогнать, мне сказали: «Надо выбирать: или ты будешь спать *где-нибудь*, или делить с ним мою постель». Я вынужден был уступить. Но эта тварь менее сговорчива». И Бонапарт показал генералу шрам на ноге».

– Ну, это не намного лучше. Бомарше стареет... Кстати, должен сообщить, что Бонапарт не так покладист, как в вашем анекдоте. Не так давно он тайно заплатил садовнику, пес которого загрыз несчастного мопса. Впрочем, неугомонная завела нового... Да, он ее боготворит. И новый мопс тоже. И тем не менее, несмотря на положение Жозефины, мне тотчас удалось узнать о приезде графа.

Здесь Бомарше решил расхохотаться. Но веселье у него не выходило сегодня, и он лишь брезгливо поморщился.

– Несмотря на мое отшельничество, которое вы не захотели признать, даже я знаю, что гражданин Фуше оплачивает огромные счета этой очаровательной мотовки – гражданки Бонапарт.

– Принято! Польщен! – обрадовался Фуше. – Да, в мотовстве обе наши королевы похожи – и прежняя, и будущая. Да, воистину Жозефина не избегает сообщать мне новости. Но о графе я узнал помимо нее, – улыбка на лице гражданина Фуше стала ослепительной. – Бонапарт сейчас находится в Египте. Местные безумцы считают, что он там застрянет, а я уже начал готовиться к его приезду. И вот я узнаю, что супруги ищут гнездышко. Вы предложили генералу купить ваш дом, я тоже решил ему помочь. Но нетерпеливая мадам в прошлом месяце сама купила небольшое имение Мальмезон под Парижем. Эта жалкая дыра – все, на что способно ее воображение... И вот она начала его обставлять. Я предложил отвезти ее в Трианон и показать ей мебель, сделанную по заказу Марии Антуанетты. Она выслушала меня равнодушно и не поехала. И вдруг третьего дня она сама заговорила об этой мебели и попросила узнать: правда ли, что вы купили стулья королевы на аукционе. Этот внезапный интерес креолки к мебели Антуанетты, согласитесь, был подозрительным. Я сразу понял, что скорее всего таинственный *некто*, тесно связанный с Жозефиной, интересуется этой мебелью. Так что уже вскоре мы знали о приезде графа Ферзена. Естественно, я поделился с мадам Жозефиной своим открытием и справедливым желанием немедля арестовать графа. Но вся беда в том, что она не желает, чтоб мы его арестовывали, а мы с каждым днем все внимательней прислушиваемся к ее желаниям. Как видите, я играю с вами в открытую... Кстати, забавная подробность: просматривая материалы Комитета общественного спасения, я нашел в них письма, изъятые революцией у покойной королевы. По почерку мы установили их автора. Это был ее любовник, все тот же граф Ферзен. И знаете, как он называл для конспирации Антуанетту? *Жозефина*. Вот так улыбается история!

«И гражданин Фуше издал несколько отрывистых звуков, на этот раз напоминавших лай, но являвшихся опять же смехом».

Фуше кивнул на два крошечных стула у стены. Сквозь грязь и пятна на них была различима золотая вышивка – сатир и нимфы, резвившиеся на лугу.

– Как я понимаю, это они и есть?

Бомарше улыбнулся.

– Последний вздох рококо... На свою беду они были светлые. Посмотрите, как нежна сохранившаяся позолота, как тонко покрыто дерево дорогим белым лаком, обратите внимание на изящные ножки в виде колонн с желобком. А какова обивка! Она, конечно же, изготовлена на мануфактуре Обюссона по рисунку Буше... Местный крестьянин украл гарнитур в революцию. Стулья стояли у него в хлеву, а круглым столиком с бронзовыми женскими головками он как-то зимой истопил печь. Эту мебель Людовик Пятнадцатый заказал для мадам Помпадур. В Трианоне был очаровательный кабинет. Там Людовик Любимый... кажется, так его звали...

– Вам лучше знать, гражданин Бомарше. Вы ведь с ним виделись?

– ...принимал возлюбленных, – будто не слыша, продолжал Бомарше. – Он нажимал на педаль, из-под пола поднимался тот самый крохотный столик, сервированный золотой посудой на двоих.

– Поднимался под звуки менуэта... Да, вы должны это помнить. Ведь именно там был ваш ужин с королевой, совершенно справедливо казненной нашим народом. И вы тогда сидели на этих стульях.

– Именно так, гражданин Фуше. Они не только изящны – они удобны. Овальная спинка... хорошо было сидеть...

– Впрочем, граф Ферзен должен помнить их еще лучше. Он не раз ужинал с королевой в этом кабинете. И оттого, согласно донесению, совершенно обезумел от гнева, когда узнал, что ее мебель продавалась на аукционе... причем особенно бесновался, когда узнал, что стулья купили вы. Его первый визит к вам я ожидаю уже сегодня. Только не делайте вид, что изумлены. Он предупредил вас вчера письмом, которое принес слуга его любовницы в тринадцать пополудни... Но я уверен, что дело не в мебели. По моим данным, на этот раз вы будете играть со смертью. Граф отчего-то помешан на мести вам. Он живет этим... а человек он отчаянный. Так что я предлагаю на время оставить вашего слугу у нас. А вместо него подселить сюда надежного человека, который сумеет оградить вас...

– Я предпочту своего слугу. Меня уже пытались убить, и не один раз. Я знаю, как себя защитить.

– Понимаю... вы тоже что-то задумали. Во всяком случае, вчера ваш слуга отнес записку некоему маркизу де Саду, проживающему...

точнее, ютящемуся ныне у своей сожительницы на чердаке. Вы ничего не хотите мне рассказать?

Бомарше молчал.

– Ну что ж, будем догадываться сами... А стулья и впрямь хороши. Неужели вы собираетесь восстановить прежнее величие вашего дома? Оттого и купили мебель королевы?

– Ну что вы! И тогда это стоило мне... я залез в такие долги... а сейчас и думать невозможно.

– И тем не менее вы пытаетесь... Вы попросили денег у американцев.

– Я всего лишь попросил их вернуть долг. Но это самый скупой народ в мире! Я помогал им, сделал все, чтобы наш последний король поддержал их... На свои средства отправлял в Америку корабли с мортирами. Они задолжали мне без малого два миллиона!

– Миллион девятьсот восемьдесят три тысячи золотом, – уточнил гражданин Фуше.

– Что толку! – Бомарше был в ярости. – После всех побед, когда они получили независимость, я был уверен: Америка со мной рассчитается! Ничего подобного! Сукины дети!

– Как странно... Прежде Бомарше умел выгодно вкладывать деньги.

– И тут я первым сообразил! Поверьте, это будет очень богатая страна.

– Но пока – ничего. Ни гроша!

– Я пытаюсь усовестить этих людей.

– Вы, с вашим умом, всерьез призываете их отдать деньги нищему Бомарше? Неужели вы забыли, что деньги отдают только богатым? Я говорю о вашем «Послании американскому народу».

– Да, – несколько сконфуженно сказал Бомарше, – отправил... отправил... Глупость!

– Шестнадцатого апреля в два часа дня, если быть точным. Полиция сообщила об этом тотчас же... «Американцы, я не получил от вас ни гроша при жизни, я умираю вашим кредитором. Я завещаю вам в наследство мою дочь, чтобы вы дали ей в приданое то, что вы должны мне. Подайте же милостыню вашему Другу...» Конечно, глупость! И тон, на мой вкус, несколько не ваш... Но не в этом дело. Меня очень взволновали слова: «Я умираю». Не скрою, в какой-то мере они и послужили причиной моего прихода.

Бомарше засмеялся.

– «Я умираю» – это образ. Всего лишь!

– Я стараюсь думать именно так. Но учитывая *сегодняшний* приход графа Ферзена и зная его мстительные намерения, я взволнован. Вам никак не следует умирать сегодня.

– Мне очень нравится ваше пожелание.

– И вообще не следует умирать... до нашего соглашения. Позвольте наконец обратиться к цели моего посещения. Поверьте, несмотря на всяческое преклонение перед вами,

я не смею ограничить вашу свободу и запрещать вам распорядиться – пусть даже легкомысленно – собственной жизнью. Но если...

Фуше замолчал.

Молчал и Бомарше. Он уже понял.

– Если, – продолжал Фуше, – не дай Бог, граф Ферзен окажется куда опаснее, чем вы предполагаете, и уже сегодня вы расстанетесь с нашим столь несовершенным миром, то смею ли я попросить вас...

Он опять остановился, будто в нерешительности.

– Мужайтесь, гражданин Фуше! И будьте бесстрашны, как... – Бомарше засмеялся. – Не знаю, как лучше сказать – «как всегда» или «как никогда»?

Гражданин Фуше был глух к издевкам. Он продолжил:

– Республика и лично я... мы будем безмерно вам благодарны, коли вы не сочтете за труд и составите некое завещание. Речь идет о вашем архиве, о документах, находящихся в вашем владении. Как следует из вашего досье, вы были секретным агентом Людовика Пятнадцатого и продолжали этим заниматься при казненном нацией Людовике Шестнадцатом. Головоломные интриги, к которым Бомарше был причастен, мне, конечно же, любопытны... Но сейчас меня особенно интересуют документы об *одном гражданине*, которым я просто обязан заинтересоваться, вступая в должность руководителя полиции.

Здесь Фуше сделал значительную паузу, но лицо Бомарше оставалось безмятежным. И Фуше продолжил:

– Как вы уже поняли, я говорю о том гражданине, с которым вы встретились уже после революции... во время побега королевской семьи.

«На лице гражданина Бомарше отразилось совершеннейшее недоумение». Фуше улыбнулся.

– Вы хотите сказать, что попросту не понимаете, о чем и, главное – *о ком* я говорю?

– Именно, именно, гражданин. И у меня нет никаких особенных бумаг, которые могли бы быть полезны республике.

Фуше сочувственно вздохнул и открыл свой кожаный, весьма истертый портфель, успев сообщить при этом:

– Это и есть все наследство, полученное мною от покойного отца.

После чего на свет божий появился лист бумаги, каковой Фуше и передал Бомарше.

– Вот подробная опись ваших бумаг, которые меня особенно интересуют. Признаюсь, опись составлена со слов вашего умершего любимого слуги Фигаро... Это забавно, что всех своих слуг вы зовете Фигаро... Я знаю, как вы ценили того, очередного. *Но и полиция – тоже.*

«И тут гражданин Бомарше решил стать насмешливо-патетичным. Швырнув листок гражданину Фуше, он визгливо-скандально спросил, точнее, прокричал»:

– И сколько заплатили мерзавцу?! Хотелось бы знать, почему нынче тридцать сребреников?

– Ну что вы! Дело здесь вовсе не в деньгах. Как, впрочем, и в случае с тридцатью сребрениками, о которых вы упомянули. Я знаю, вы очень интересовались этой темой и даже беседовали об «иудиных сребрениках» с самим Вольтером. Это было в тысяча семьсот семьдесят шестом году... месяц и день у меня записаны, коли вам понадобится... Какая беседа! Пиршество остроумия! Два великих литератора пытались выдумать причину пооригинальнее: почему Иуда предал Христа. Оба обожателя парадоксов, конечно же, решили приписать Иуде самые возвышенные идеи – а все потому, что их ввела в заблуждение жалкая сумма. И вы, и наш гений справедливо не поверили, что за такую нищую мзду один из ближайших к Христу учеников – да к тому же хранитель денежного ящика – мог предать своего учителя. И вы были правы! Сребреники действительно были ни при чем. Я, как человек, много раз

имевший отношения с иудами и сам иногда – поневоле – игравший сию роль, могу вам со всей определенностью это засвидетельствовать... Хотя никакой сложной истории там тоже нет. *Все на самом деле очень просто.* Иудой руководило чувство, подчиняющее смертных куда вернее, чем все сокровища мира. Это человеческий *страх*. Христос, читавший в сердцах, с самого начала знал его силу и оттого предвидел, что даже верного Петра страх заставит отречься от Учителя. В главный миг – отречься! И про Иуду знал: коли страх войдет в его сердце, он непременно выполнит предначертанное – предаст Учителя. Как, впрочем, бесчисленное множество людей и до Иуды, и после... И все именно так и случилось. Когда Иуда понял, что со дня на день Синедрион решится схватить Христа, он попросту испугался. Испугался, что теперь наверняка схватят и Его учеников. И зная законы и мстительный характер врагов Христа... – тут Фуше перешел на шепот. – Короче, позорный крест, на котором распинали, замаячил и перед Иудой. И от страха он сам поспешил, помчался предавать. Вот когда Синедрион понял, как жалки ученики без Учителя – овцы без Пастыря. И оттого их тогда не тронули. А в знак презрения швырнули Иуде милостыню – серебряники жалким числом тридцать за самого Господа Бога. Так что могу вас уверить, гражданин, Евангелие совершенно право! А все ваши с покойным Вольтером сложные идеи совершенно излишни. И слугой вашим, очередным жалким Иудой, управлял всего лишь страх... Гильотина, как вы помните, в те дни работала неустанно. Именно тогда арестовали вас и позвали на допрос вашего слугу, который готов был не только выдать список хранившихся бумаг, но и предать их хозяина. Страх! Страх – владыка мира! Да что жалкий слуга... Вы лучше меня знаете: вашим идолом – да и моим, кстати, – самим Вольтером перед смертью владел банальный страх. Он попросту испугался: а вдруг Господь, над которым он столько потешался, существует? «А Вольтер живет в веках» – так вы его прославили... Вот этого «в веках» – вечного пребывания в аду – он и испугался. И решил исповедаться перед смертью: объявил, что умирает верным католиком, и даже подписал просьбу о церковном прощении. Правда, как написал в доносе его слуга: «Подписав, умирающий вдруг подмигнул и прошептал очень явственно: «Но если там ничего нет, эти жалкие три строчки не смогут отменить тысячи написанных мною страниц». Донос слуги остался у нас – он пережил Вольтера. Как и донос вашего слуги... Удивительная вещь – рукописи исчезают, даже государства исчезают, а доносы...

– Бессмертны, – сказал Бомарше.

«Гражданин Фуше вновь издал знакомое кудахтанье, означавшее смех».

– Однако вернемся к вашим бумагам. Тогда падение Робеспьера избавило вас от их конфискации. И скажу откровенно, я не знаю, где вы теперь их прячете. Но уверен, вы познакомите меня с вашим богатством, ибо я со своей стороны предоставлю в ваше распоряжение весьма любопытные документы. Это целая коллекция полицейских донесений... о вас! Целая «Жизнь гражданина Бомарше»...

– В доносах.

– Именно!

– В скольких томах?

– Не обижу... Много, очень много. Причем не поймешь, чего больше – донесений от агентов или от коллег-литераторов.

– Что делать – эпоха... Я всегда говорил: если когда-нибудь издадут воистину полные собрания сочинений наших писателей, самым объемистым у многих станет последний том. С золотым тиснением: «Письма и доносы».

– И хронология впечатляет. Первые доносы относятся ко времени вашей молодости. По распоряжению покойного короля Людовика Пятнадцатого, сразу после того как вы, совсем молодой человек... вам было двадцать пять лет и три месяца... взяли учиться сестер короля играть на арфе, за вами начал следить тайный агент Барро. А после того как вы стали извест-

ным литератором, ваш хороший знакомец, шеф полиции господин де Сартин... видимо, он глубоко ценил вас и оттого назначил следить за вами сразу троих. В том числе одного вашего близкого друга. Мне не хотелось бы разрушать ваши иллюзии... я его не назову... тем более что он был гильотинирован в девяносто третьем году. «О покойниках – только хорошее»... А после падения короля, по личному предписанию... да, да, столь ценившего вас Дантона, за вами надзирал секретарь революционного Трибунала гражданин Напье с целой командой осведомителей.

– Напье?! – вдруг оживился Бомарше.

– Да, тот самый, который был при казни Антуанетты... И хотя после революции количество осведомителей резко увеличилось, в девяносто четвертом году в вашем деле возникает некая печальная пустота. Что делать – Напье был гильотинирован вместе с помощниками... А Робеспьер уже никого не назначал следить за вами, ибо предназначил вас для эшафота. Но потом и сам Робеспьер...

– Увы. Да и я вместо гильотины...

– Отправились за границу. Оттого возник печальный промежуток... Но теперь и я кого-нибудь вам назначу.

«Последнюю фразу Фуше произнес застенчиво».

Бомарше странно улыбнулся и сказал:

– Вы думаете? – он помолчал и добавил: – Однако какая поучительная, какая горькая история...

– Именно. Люди, о которых вы ничего не знали...

– Но которые все знали обо мне...

– Эти столь близкие к вам люди...

– Которые столько трудились и, безвестные, уходили из жизни, даже не оплаканные мною... Что ж, вы уже говорили: смертны люди, но не доносы. «Ваша Вечность» – так обращались к цезарям. На вашем месте я так же обращался бы к стукачам.

– К доносителям! Но вернемся к содержанию богатого наследия, которое я от них получил. Эти донесения – единственно правдивая, хотя и тайная биография великого Бомарше. Я готов вкратце ее поведать, чтобы вы могли сами судить о выгодах сделки, которую я предлагаю. Товар лицом...

– Точнее, задницей. Грязной задницей.

– Как легко с вами разговаривать! Сразу видно, что вы успешно занимались торговлей... Итак, начинаем сначала. У Андре Шарля Карона родился сын Пьер Огюстен. Пока еще – Карон...

«Что Бомарше кого-то отравил...»

– Кстати, отличное начало пьесы, – сказал Бомарше. – Занавес открывается – и долго бьют часы... Ибо рождение Бомарше случилось ровно в пять часов. Во всех комнатах у отца-часовщика били по очереди чуть отстающие друг от друга часы. Надеюсь, что хотя бы в это время за мной...

– Верно. Тогда за вами никто не следил.

– Неужели я мочил пеленки в одиночестве, без доносов? Как скучно!

– Ничего, маленький Карон скоро вырастет... Вы хотите что-то добавить?

– Добавлю. В то время вместо осведомителей рядом со мной был мой гений. Совсем юным я изобрел анкерный спуск, который позволил делать часы маленькими и плоскими. Это восхитило всех дам, обожавших носить часы, а как известно, тогда Францией правили дамы.. Но открытие у юноши, почти мальчика, попытались похитить. И кто? Лепот, первый часовщик Франции, член Академии.

– Видите, как плохо быть одному. А если бы рядом были мы? Король сразу получил бы от нас правдивую информацию. И вам не пришлось бы начинать жизнь с того, чтобы показывать миру воистину волчьи зубы – биться в одиночку с уважаемым членом Академии.

– Согласен. Но, несмотря на неравные силы, безвестный юноша отбил свое изобретение. В двадцать лет я – первый часовщик Франции.

– Я даже думаю: когда вы рылись в часах... в этих маленьких колесиках, которые так хитро передают движение друг другу... вы и научились интригам. И тогда-то юный хитрец задумал сделать крохотные часики для мадам Помпадур. Это был путь во дворец... где вас уже ждали наши люди... Я могу сообщить вам число, когда вы объявили, что усовершенствовали арфу. Могу назвать точную дату, когда сестры короля захотели узнать, как звучит новый инструмент и какого числа вы явились в Версаль сие продемонстрировать. Все зафиксировано. Теперь в вашей жизни наступил порядок... Кстати, все принцессы, начиная с мадемуазель Аделаиды, были очень нехороши собой. И появление такого опасного молодого человека... высок, тонок, хорош собой, блестящий собеседник... именно так вас описывает первое донесение. По этому доносу...

– ...можно заказать правдивый портрет.

– Браво! Вы начали понимать пользу доносов.

– Да, я увлечен.

– Короче, ваша внешность вызвала опасения за сохранность королевских сестер... я имею в виду их девственность. Обеспокоенный король просил неотступно следить за ходом уроков. И он не ошибся. Согласно донесению номер шесть, страница двенадцать, уже на третьем уроке вы попытались соблазнить одну из перезрелых девиц.

– Я тогда сходил с ума от женщин. Возраст...

– Этот возраст у вас никогда не проходил.

Но Бомарше будто не слышал, он грезил вслух:

– Я сходил с ума от одного шелеста женского платья... от женской ножки... от запаха женщины... Полная Аделаида душилась... это был такой нежный аромат цветков на тонких стеблях... она хотела казаться эфирнее... Две другие, стройные и тощие, напротив, употребляли пряные возбуждающие духи – амбру и мускус.

И звук моей арфы тонул в шлейфе их запахов. Я не выдержал... Был вечер... мы остались вдвоем с Аделаидой. Во время игры на клавишине наши руки соприкоснулись. Принцесса задрожала... Я схватил ее и поцеловал. И ответ на мой поцелуй был самый прилежный. Но прическа! Я был неопытен. Эти огромные прически... У нее, помню, была в виде сада с живыми цветами... она требовала многих часов работы. Великое и вечное правило: «Женщина может простить вам все, кроме испорченной прически!» При страстном поцелуе я разрушил это чудо искусства! Проклятье!

– Вот тут начинаются разночтения. Здесь ваша приятная версия уступает неприятному языку правды. Ибо вступают в права...

– Доносы! – засмеялся Бомарше.

– Беспристрастие доносов, гражданин. Увы! Ответом на ваш поцелуй была звонкая пощечина. Она «отпрянула с брезгливостью», как пишет в своем отчете Барро. Вот так, мой друг, воспитываются революционеры. Я думаю, тут в первый раз в вас проснулась ярость Фигаро, тут вы окончательно усвоили, что без титула не обойтись в этом мире. И я вас понимаю. Ибо и в моей жизни... Короче, думаю, именно тогда вы решили изменить свою жизнь. Во всяком случае, именно так интерпретировало донесение странную смерть вашей первой жены. Ведь в то время, когда наш юный герой соблазнял сестру короля, он уже был женат...

– Был женат, – как эхо повторил Бомарше.

– Причем интереснейшая история случилась... во всяком случае, интереснейшая для полиции. Двадцатитрехлетний Карон знакомится с тридцатишестилетней женщиной по

имени Мадлена-Катрин Франке и тотчас вступает с ней в связь. И вскоре ее муж... после уговоров жены... продает вам за мизерную сумму свою должность контролера королевской трапезы. Так сын часовщика сделал первый шаг к дворянству. Теперь в дни официальных торжеств вы при шпаге шествуете с блюдом жаркого к королевскому столу. Пока – ничего необычного... но далее события становятся очень подозрительными.

Расставшись с патентом, мсье Франке поразительно быстро расстается с жизнью, уступив вам не только должность, но и свою жену. Вы женитесь на даме, которая должна была казаться вам старухой. Но и года не прошло, как она отправляется на тот свет вслед за муженьком, оставив вам поместье с названием Бомарше, которое вы гордо делаете своей новой фамилией. Так исчез простолюдин Карон и появился господин де Бомарше – владелец поместья и дворянской приставки «де» к фамилии... Согласитесь, что многочисленные доносы родственников вашей жены, будто вы ее отравили... Они есть в вашем досье и не выглядят неправдоподобно.

– Я доказал, и не раз, гражданин, что это клевета.

– Но эта история очень странно повторится и со второй женой. Госпожа Левек тоже была старше вас... вы ее тоже соблазните... у нее тоже старый муж... который опять же стремительно умирает. Вы женитесь на ней, и через полтора года она отправляется вслед за мужем на тот свет. И опять доносы об отравлении. Как мы все это назовем?

– Пьесой о Бомарше, сочиненной стукачами.

– Что ж, перейдем к следующей теме – к вашей мечте. Автор Фигаро, надсмеявшийся над дворянством, всю жизнь постыдно стремится стать дворянином.

– Только богатые могут по-настоящему презирать деньги. Только родовитые – титулы. Однажды мне попалось сочинение глупца. Он писал: «Мсье Х. был богат и честен». Я тотчас исправил: «Когда мсье Х. стал богат, он стал честен». Только бедный и безродный, всю жизнь смеющийся над богатством, так жаждет титулов и собирает богатство!

– И вы добились вожеленного. Но как? Если верить донесениям, ответ будет однозначный: все также – собственным членом. В доносе сообщается, что у вас появился неожиданный благодетель – знаменитый богач, тайный олигарх господин Дюверне. Он вдруг принял подозрительно пылкое участие в судьбе молодого Бомарше и за большие деньги купил ему патент королевского секретаря. «Мыльце для мужланов» – так назывались тогда купленные должности, дававшие право на дворянство. А чтобы молодой «мужлан» окончательно отмылся, старик выкупил вам звание «судьи в королевских угодах». Это благодеяние стоило Дюверне целого состояния – пятидесяти пяти тысяч франков! Ужас! Теперь часовщик и музыкант Бомарше стал дворянином и сановником, у него в подчинении – граф Марковиль, граф Рошешуар и прочие... Но почему старик это сделал? Кто разъяснит потомкам?

– Конечно, доносы.

– Юмор тут нехстати. «Как здоровье, дорогая крошка? Мы так давно не обнимались. Потешные мы любовники: не смеем встречаться, опасаясь гримасы, которую скорчат родственники. Но это не мешает нам любить друг друга». Забавно пишет Бомарше... если учесть, что «дорогой крошке» Дюверне под восемьдесят. Немудрено, что от таких пылких развлечений старик вскоре скончался. Еще один труп... И опять часть наследства досталась все тому же вечному наследнику мертвых – Бомарше. Но на этот раз – осечка! Жадные родственники объявили завещание старика поддельным и начали судебный процесс. И тут талант вас подвел. Новоиспеченный господин де Бомарше в блестящих памфлетах, которые, я уверен, войдут в историю французской литературы – а тогда вошли в досье министерства полиции...

– Что не менее долговечно, как мы выяснили...

– Вы хотите что-нибудь сказать?

– Нет, нет, продолжайте. Bravo! Публика просит продолжать пьесу.

– Вы так лихо атаковали королевских судей этими памфлетами, что они не стерпели остроумия гения. Вас осудили и приговорили к «публичному шельмованию». Вы стали гражданским мертвецом: вам нельзя было занимать должности, вести серьезные дела, даже ставить свои пьесы. А вам уже за сорок...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.